

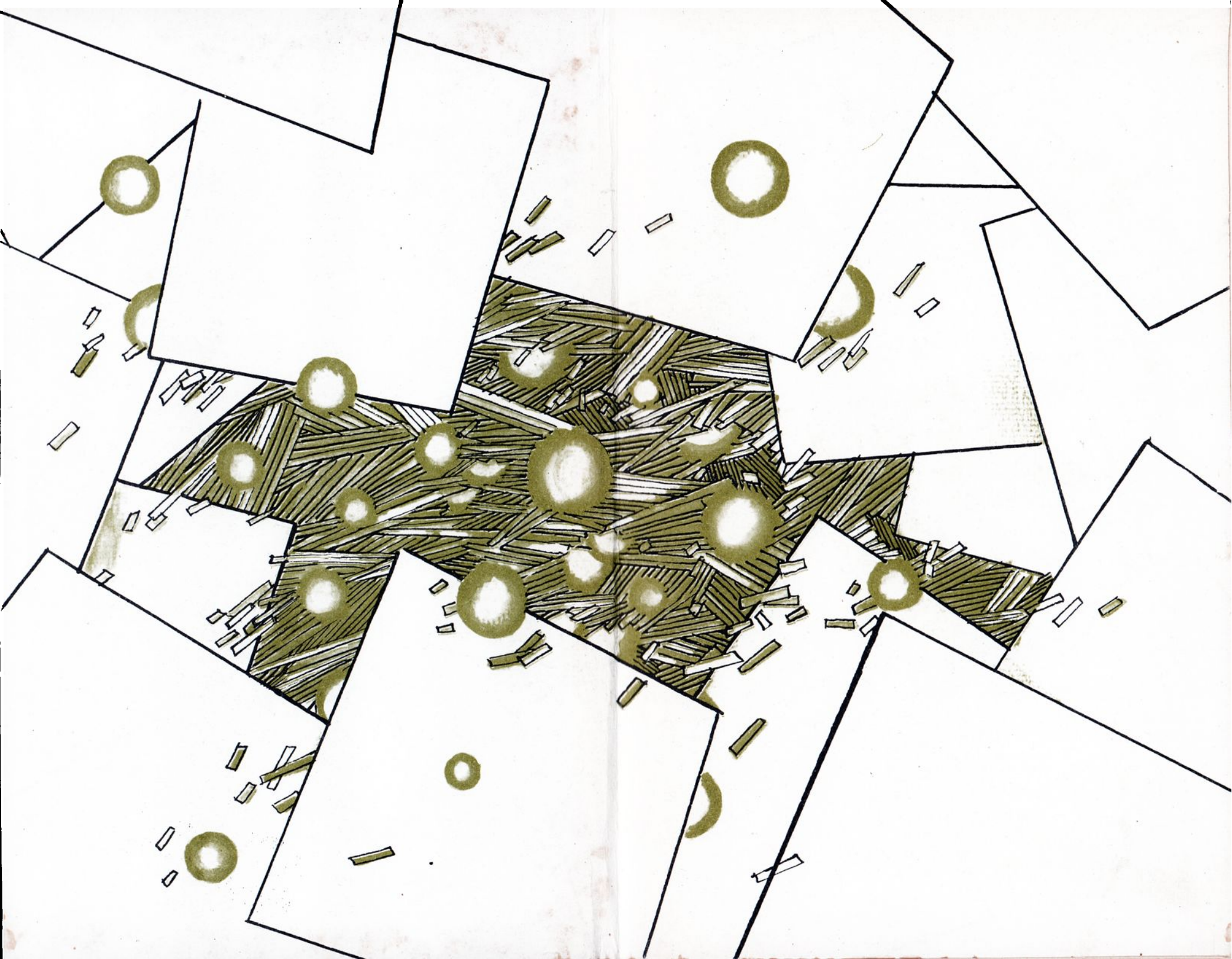
# РЭЙ БРЭДБЕРИ



ИДЕЯ БРЕД  
Д. БРЕДБЕРИ











Сборник  
научно-фантастических  
произведений





...Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет...

...Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть расстрел этой планеты хотя бы лет на пятьдесят...

... Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю — останусь насовсем, никогда больше не полечу»...

...Том... Как потвоему, все люди знают... знают, что они ... живые?



# РЭЙ БРЭДБЕРИ



Серия  
научной фантастики

---

«Икар»

Кишинев

---

«Штиинца» 1985



Текст печатается по изданиям:

---

## **Рэй Брэдбери**

**451° по Фаренгейту.** — М.: Мир, 1964;

**Марсианские хроники.** — М.: Мир, 1965;

**Фантастика Рэя Бредбери.** — М.: Знание, 1964;

**Библиотека современной фантастики**

**в 15 томах, т. 3.**— М.: Издательство

**ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1965;**

**Вино из одуванчиков.** — М.: Мир, 1967.

---

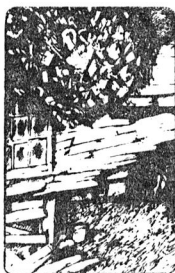
Художники

**М. Ю. Шевелькин,**

**В. М. Шишко**

# 451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ

13—107



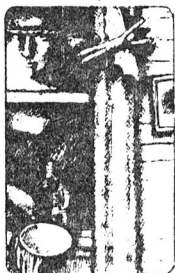
# МАРСИАНСКАЯ ХРОНИКА

109—245



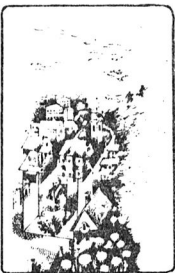
# РАССКАЗЫ

247—433



# ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

435—574





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Газеты прошлого века сообщили об исполинском морском чудовище, чья спина показывалась то там, то здесь, а порой озаряла океан таинственным светом. Чудовище оказалось удивительной подводной лодкой. Капитан Немо, мечтавший о свободе Индии и отрекшийся от человечества, построил подводный корабль, чтобы уйти на нем в безвременье морей. Вместе с героями романа мы погружались в глубины океана, поражались чудесам подводного мира и еще большему чуду — «Наутилусу», до технического совершенства которого еще далеко субмаринам двадцатого века.

Во времена Жюль Верна подводные лодки были примитивны, но писатель сумел увидеть направление, в котором развивались впоследствии наука и техника; в стремлении своего героя, капитана Немо, он передал мечту угнетенных народов о свободе.

В прогрессивности взглядов Жюль Верна заключен секрет его дара предвидения, притягательная сила его произведений. Читатель прошлого всей душой желал, чтобы увлекательная фантастика осуществилась, читатель современный восхищается угаданными достижениями техники и по-новому воспринимает образ капитана Немо, родина которого освободилась от пут колониализма.

Фантастическая книга, пронизанная научной мечтой, заглядывает в завтрашний день, зовет к свету, к жизни, к будущему.

Туннель, прорытый героями Келлермана под дном Атлантического океана, использование тепла Земли, изменение климата Арктики, хлеб, получаемый из воздуха (мечта Тимирязева!), и, наконец, выраженная в повести Циолковского мечта о реактивном корабле, победителе межпланетного пространства, — все это зов в будущее, зов, преисполненный веры в человека, в его гений, в прогресс, в неиссякаемые возможности науки и техники.

Однако научная фантастика имеет и другое направление.

Изобретатель машины времени, нажав какие-то рычаги, отправляется в далекое будущее... И Уэллс превращает свою повесть в своеобразный «телескоп», видящий во времени. Герой повести попадает в мир, где непримирившиеся классы угнетенных и эксплуататоров выродились в животные виды, биологически отличные друг от друга. Те, кто в течение тысячелетий создавал материальные ценности, ушли под землю, в мир искусственного света и неведомых машин, превратились в трудолюбивых, технически одаренных, но жестоких морлоков; те, кто веками присваивал себе плоды чужого труда, выродились в слабых, ни к чему

не способных существ, жалких и беспомощных потомков человека, которых морлоки продолжают кормить и обслуживать, но... теперь уже как домашний скот, ради их нежного и вкусного мяса...

Неужели это действительно «телескоп времени»? Неужели писатель показал нам жуткую картину подлинного будущего? Вовсе нет! Для Уэллса его «телескоп времени» был средством отрицания капиталистического мира угнетателей и угнетенных, гневным изобличением паразитического класса, страстным возгласом, что «так дальше продолжаться не может, иначе вот к чему мы придем!» Писатель не показывал, как должно быть, но он наталкивал читателей на поиски путей к будущему, которые исключали бы нарисованную в «Машине времени» картину.

В последние годы казалось, что традиция Уэллса умерла на Западе. В потоке фантастической литературы не осталось места разоблачению и осуждению существующих порядков.

Книжный рынок США наводнен множеством произведений, использующих для своих сюжетов модные действительные или предполагаемые достижения техники. Американская фантастика в основном, к сожалению, не пошла по пути, проложенному ее патриархом Гуго Гернсбеком, который в своем романе «Ральф 124С241+» еще в 1911 году предсказал многие достижения современной науки и техники. Электронный мозг и межпланетные корабли, тупопослушные роботы — все это служит сейчас у многих американских писателей лишь ареной, фоном для действий все тех же знакомых читателю гангстеров, полицейских, златокудрых красавиц с осиной талией и удачливых «сверхчеловеков». Стандартные гангстерские истории стандартного американского быта переносятся из Нью-Йорка или Чикаго в межпланетные пространства, гонки за преступниками ведутся не на автомобилях, а на ракетных космических кораблях. Это что-то, часто не поднимаясь выше уровня бульварной литературы, служит все тем же целям обольщивания читателя, запугивания его войной и безысходностью. Преподносимые ему картины будущего — это картины разрушения, вырождения, одичания... конца цивилизации. Рядового американца призывают жить сегодняшним днем, не задумываясь о будущем, которое все равно беспросветно и мрачно.

Но вот перед нами фантастическая книга американского писателя Рэя Брэдбери, создавшего немало в этом жанре, прежде чем выступить с неожиданной для всех повестью «451° по Фаренгейту».

«451° по Фаренгейту»! Что это такое? Что означает эта цифра?

Посмотрим эпиграф:

«451° по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага...»

Почему бумага?

Перевернем страницу. Сейчас писатель перенесет нас в мир будущего...

Мир будущего? Вот он, «мир будущего», отвечает нам автор, смотрите и... ужасайтесь!

Однако не морлоки, пожирающие свой человекообразный скот, встретят нас на страницах повести. Нет! Мы познакомимся там с рядовыми американцами сегодняшнего дня, поставленными не в какие-либо новые условия, а именно в те самые, не изменяющиеся условия, которые существовали в дни, когда Рэй Брэдбери взял за перо.

Этих американцев XXI века окружают замечательные достижения техники, которые со свойственной ему прозорливостью сумел предугадать писатель; «пешеход», человек, идущий пешком, а не мчащийся в ракетном автомобиле, будет необыкновенной, дикой фигурой, обраща-



ющей на себя всеобщее и презрительное внимание; радио и телевидение, автоматика и телемеханика, кибернетика, атомная техника — все это достигло головокружительного уровня; люди забыли о самопроизвольно вспыхивающих пожарах, огнезащитный слой надежно покрыл стены домов, но вместе с тем необыкновенно высокого уровня достигла техника пожарного дела...

С рядовым пожарником XXI века и предстоит читателю познакомиться в книге Рэя Брэдбери.

Гаяу Монтэгу все время приходится иметь дело с огнем, в руках он держит ревущийся вслед за шипящей струей брандспойт. Багровое лицо пожарника обожжено, одежда и руки пропахли... керосином. Умело и с привычным наслаждением направляет он струю горючего в огонь. И перед ним пылают... книги. Они мечутся и пляшут, как подпаленные птицы, их крылья пламенеют красными и желтыми перьями. Какое это наслаждение — жечь, уничтожать, превращать в пепел, черным снегом осыпающий все вокруг, делающий потные, закопченные лица черными и злоещими!

Да, главный герой повести Рэя Брэдбери, профессиональный и потомственный пожарник, начинает свою жизнь на страницах книги сожжением книг.

Слома голову мчатся пожарники по городу на своих ревущих автомобилях, едва только раздастся сигнал тревоги, или, попросту говоря, телефонный донос. Достаточно кому угодно позвонить в пожарное депо, донести на соседа, прячущего книги, обыкновенные книги, Шекспира или библию — все равно, книги, которые можно читать, над которыми можно думать, — и свирепая команда молодчиков в шлемах, украшенных символической цифрой 451, с воем мчится на машинах-саламандрах в опасное место, чтобы уничтожить, испепелить «ужасные книги», порожденные мыслью, а вместе с ними сжечь, превратить в руины зараженный дом ослушника, преступившего основной закон будущего, запрешающий чтение книг.

Что это? Опять биологически выродившиеся потомки человека?

Ничего подобного!

Это самые обыкновенные американцы, выполняющие задачи, которые перед ними ставятся уже сегодня, а завтра могут быть поставлены в масштабах, соответственно больших, удобных и ныне некоторым современным американским деятелям, против которых вместе с лучшей частью народа и поднимает свой голос Брэдбери.

Не стоит пересказывать содержание повести и ослабить тем самым удовольствие от ее чтения, но полезно протянуть нити из предполагаемого времени, в котором происходят события повести, в американскую действительность и убедиться, что Брэдбери не выдумал ни марсиан, ни селенитов, населивших Землю вместо людей, а правдиво показал, хотя и через фантастическое увеличительное стекло, с е г о д н я ш н и й день.

Книга Брэдбери не «луна времени», а «луна совести», к которой взывает каждая строка книги.

Разве костры из книг выдумка? Нет, они пылали на площадях не только в средние века, не только во времена бесноватого Гитлера — они смрадной керосиновой копотью загорялись воздух современных американских городов, когда по приказу мракобесов сжигались бессмертные творения Маркса, Гейне, Горького, Твена...

И не только в Америке Маккарти на площадях пылали книги. Совсем не так давно рокуэлловцы — фашистские последыши, соратники

берчистов, опора «бешеных», на шляпах которых не хватало только цифры 451, сожгли дом писателя Рэя Брэдбери вместе со всеми книгами, которые он читал и которые писал. К счастью, никто из близких писателя не пострадал.

Чем же вызвал он такую ненависть воинствующих мракобесов? Ведь писатель, казалось, был далек от бурных политических схваток, он всего лишь рассказывал сказки о невозможном будущем.

Нет! Оказывается, он не только говорил правду о современности, которую не хотели слышать его враги, он угадывал тенденции развития современной Америки, гневно предостерегая своих соотечественников. Это в его новелле ни в чем не повинная чета американцев после уничтожения в атомной войне Северной Америки и Европы вынуждена держать ответ перед жителями латиноамериканской страны, для которых они — символ былого угнетения («Когда камни заговорили»). Это он показывал одичавших людей будущего, которые проклинают культуру своих предков, не сумевших сохранить ее. Толпа расправляется со случайно уцелевшим шедевром прошлого, но кусочек холста с чудесной улыбкой Джоконды похищает и уносит с собой мальчик, почувствовавший в ней красоту утраченного (новелла «Улыбка»). Это в новелле Брэдбери «Пешеход» в унылое холодное грядущее бредет усталый человек, ненавидящий шум и напряженный темп грохочущего мира, в котором нет места чувствам, мыслям, даже книгам.

Как же можно было дойти до мысли уничтожить все книги?

Брэдбери словами героя повести, брандмейстера Битти, отвечает на это:

«Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!.. Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять-двадцать строк для энциклопедического словаря».

И далее:

«Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?»

В самом деле, зачем учиться, зачем читать, если книги полны крамольных мыслей?!

Охота за опасными мыслями в Америке начата была еще в наши дни. Она гримировалась под проверку лояльности, опирающуюся на подозрительность, провокацию, донос. Мрачной памяти эпоха Маккарти! Но не ее ли хотят сегодня вернуть «бешеные»?

И вот от современности с ее кострами из книг, охотой за мыслями и доносами к временам пожарника Монтэга — один шаг. Этот возможный шаг и рассматривает через «лупу совести» Рэй Брэдбери.

Он вводит нас в частный дом американца, знакомит с его опустошенной женой, ищущей ухода от жизни или в ракушках-радиоприемниках, которыми она затыкает уши, находясь в нереальном фальшивом мире эфира, или в четырех оживших телевизиорных стенах своей гости-



ной. Она окружена бессмысленным сверканием переливающихся красок и внимает столь же бессмысленной, уводящей от жизни болтовне завсегдатаев ее экранной гостиниой, цветных и объемных персонажей, именуемых ее друзьями и даже «родственниками», которые при помощи хитроумного устройства называют ее по имени и оглушают беспричинным смехом, забавляют кривляньем и пьесами, которые «ничего» не говорят и в которых «ничего» не происходит.

«На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой... На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиниая ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэз видел, как в воздух взлетели человеческие тела».

Что это? Будущее телевизора?

Нет! Это очень походит на сегодняшнюю телевизионную передачу, это очень напоминает современное американское телевидение, против которого восстает Брэдли, показывая, как радио оглушает, преследует на улице, в метро, оупляет, одурманивает бессмысленным текстом реклам, через уши въедаясь в мозг; телевизор к тому же еще и ослепляет, отгораживает от жизни, отнимает досуг, лишает зрения, заполняет жизнь «ничем»!

И вот перед нами жертва «эфирных тисков», оглушенная репродукторами, ослепленная телеэкранами. Мы видим ее глазами героя: «...созженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа». Она никогда не читает книг, страшась их, она только слушает... она не видит, а только смотрит жадными до зрелищ глазами... и в ответ на признание мужа, что они вчера сожгли тысячу книг и вместе с ними заживо женщину, она равнодушно спрашивает: «Ну и что же?» Закономерно будет все ее поведение в повести. Таких и хотели бы видеть среднего обывателя американские идеологи.

Чем бы ни были заняты люди, о чем бы они ни думали, что бы они ни делали, время от времени на их головы громыхающей лавиной обрушивается рев истребителей, напоминая о близости войны:

«В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна».

Это не пейзаж будущего, хоть он и взят из повести, — это пейзаж сегодняшнего дня, который пытаются навязать мирным американцам, навязать ради поддержания деловой конъюнктуры «на грани войны», ради процветания промышленности (военной!) и банков (частных!).

Белая пыль вместо городов... Этот кошмар снится людям современной Америки, оглушенным радио, ослепленным телевидением, задвленным газетной шумихой...

Как всегда, во все времена, те, кто готовил войну, кричали о быстром и победном ее исходе. Воспитанные на этом героини повести с легкомысленной беспечностью провожают на войну своих мужей. Ведь это просто пустяковая прогулка! На неделю, не больше! Так все говорят... Кто же умирает на войне? Это смешно. Умирают, прыгая с высотных зданий. Это бывает. А на войне — нет!

Герой повести Брэдли вспоминает, что его страна выиграла две атомные войны и что благополучие его сограждан куплено ценой гибели и лишений множества людей в других частях света. Но по ходу действия повести на страну надвигается новая, настоящая и действительно страшная война — война, которая может продлиться всего лишь три секунды, но в эти мгновения будут подняты в воздух и превращены в пыль американские города.

Эта часть повести звучит как тревожное предупреждение, подкрепленное картиной разрушения страны, перед тем задушившей, почти погубившей свою собственную культуру.

В гневном голосе Брэдли нет отчаяния. Он не верит в окончательную гибель всего, что дорого сердцу каждого прогрессивного человека. Даже если будут жечь книги, всегда найдутся люди, хранители знаний. Пусть заучат они наизусть отдельные главы или целые книги, пусть сокровищницей станет их память, пусть они будут жить в лесах у костров, порвав связи со стандартным миром телевизионных стен, электропсовищеек и поджигателей-пожарных, но эти лучшие сыны народа останутся носителями истинной культуры, останутся для того, чтобы снова поднять высоко светоч знания, когда рухнет мир духовного мрака.

И в этой страстной вере американского писателя в лучшее будущее — подлинный гуманизм его правдивой и мужественной книги. Гуманизм Рэя Брэдли — это его вера в лучшую часть молодежи, покиданной на страницах книги в противовес молодым шалопаям, развлекающимся автомобильными катастрофами и убийством сверстников (это не из мрачного будущего — это из современной хроники США!), — молодежи, представленной светлым образом девушки Клариссы. Глубоко поэтичная, мыслящая, мечтающая, созданная для другой жизни, для жизни в ином мире — мире правды, тепла и света, — она, носительница заботливо переданных ей традиций культуры, проходит через всю повесть, незримо присутствуя в ней даже и после того, как уже сошла с ее страниц, и остается в памяти каждого, кто прочтет книгу.

Старики ученые, выучившие наизусть тексты Шекспира и Данте, ясныеглазые Клариссы, подобные солнечным лучам, взбунтовавшиеся в решительный час пожарники-поджигатели и множество других простых людей из народа — вот те, кто, по глубокому убеждению писателя, способен победить в исторической борьбе человечества за культуру.

Советскому читателю будет интересно познакомиться со своеобразной «лупой совести» честного американца.

Александр Казанцев







## 451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ

451° по Фаренгейту —  
температура, при которой  
воспламеняется и горит  
бумага.

1

Если тебе дадут линованную  
бумагу, пиши поперек.

*Хуан Рамон Хименес*

## Часть 1

### *Очаг и саламандра*

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками дикийного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб; глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог взглянуться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым, неуголимимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье; оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? — Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно, что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запахи, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, бояться пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были неслгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча; она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.



— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастливы ли я? Что за вздор?

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним еще не случилось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намек на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье, как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штормовый флаг и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удущья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударила обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в крошечном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было, как остров, покрытый снегом; если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно раскололо надвое; словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясаясь. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарилась там на дне, что-то выскивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она

выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами,— заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной.— Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить,— ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили.— Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился.— Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — (сигарета подпрыгнула в губах у санитаря.— У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти,— они направились к выходу.— Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред,— выговорил он наконец.

«Нас слишком много,— думал он.— Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видал».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький

хрустальный флакончик? Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите».

Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, ооченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая, Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь, Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг топорливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.



— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба. Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он,

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело; мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел в вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизиорной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было в флаконе.

— Ну да? — удивленно воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было в флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начнется через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великоленно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень-очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизионная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизионную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Третью моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд. — Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый? — Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если б попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то пробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблен.

— Но этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблен, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да.— Он на минуту задумался.— Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо под дождь, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рожающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, — пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких

лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит ее лицо все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось земистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустил на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть: его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошел от люка; он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.



— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него. — Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он, правда, оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экой вздор! Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Клэрисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Клэрисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был

день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется,— сказал он, когда они дошли до входа в метро,— будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь,— ответила она,— и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать...— он запнулся и покачал головой.— Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь, правда, подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка.

— Нет-нет! — воскликнул он.— Очень хорошо, что вы спросили меня. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел.— И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того, чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают,— ответила девушка.— Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами.— Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду.— Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах,— а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для

крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего,— сказала она,— я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чем. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А ведь в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые острофы или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо, как птичка, взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Нет-нет.

Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сиэтле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И, прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрассветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, вскроет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного,

у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табака, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

«Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома еще не были несгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице:



«Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

2. Быстро разжигай огонь.

3. Сжигай все дотла.

4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотился, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и, словно во сне, спустился вниз по шесту.

Механический пес встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму:

«Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э.Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых ком-

нат, взламывали незапертые двери, натыкаясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом: «И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смирно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальновзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздрогнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись падали. Вспыхивали золотые глаза тисненых заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шел сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну, прошу вас, — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь, — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи, — подумал Монтэг, — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар красивое, эффектное как зрелище?»

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина.

Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролежала темная полоска керосина. Женщина шла за ними.

На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их.

Битти щелкнул зажигалкой.

Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса.

Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная Саламандра круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И еще что-то... Что-то еще...

— «Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумленно взглянули на брендмейстера.

Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брендмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевай-те, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку. После небольшой паузы жена наконец сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот значит как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично на что, глядеть на все....

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лед подушку тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной.

Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у нее опять были «Ракушки», и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно:

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретила со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй, что и не имеет, — сказал он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотить и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... «А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если она умрет, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете...» И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта опустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!» Он подвел итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стояли так дорого. Все эти дядюшки, тетюшки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»: «Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тетюшка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

«Надо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Ну давайте делать!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка.

«Ну, это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Что они, муж с женой? Жених с невестой? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Сбавь скорость!» «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были «Ракушки».

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели.

Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред:

— Милдред! Милдред!

— Да,— еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.

— А, да,— ответила жена.

— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видала?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты ее знаешь.

— Она...— прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Ее, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.

— Нет. О ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?...

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня,— еще раз тихо повторил он.

Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи,— сказала наконец жена.

Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиотулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала.

За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то странный звук: словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

«Механический пес,— подумал Монтэг.— Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...»



Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю — сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донесся ее голос из ванной.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?

— Программу.

— Какую?

— Очень хорошую.

— Кто играл?

— Да, ну там вообще — вся труппа.

— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: «Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе».

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книг! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить

до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать!— воскликнул он.— Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене,— сказала Милдред.— Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины,— продолжал Монтэг.— Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пух! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое,— сказала Милдред.— Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе,— два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки «Феникс» и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен,— промолвил он.

— Сам скажи.— Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза,— рупор сигнала у входной двери тихо забормotal: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников»,— сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, провести больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночь попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел в постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но, когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг.

Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Ватем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять-двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с «Гамле-

том» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, мисс Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот, немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик! Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!...

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормошит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь же меня наконец в покое! — в отчаянии воскликнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, лицо

---

<sup>1</sup> Click, Pic, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. (Здесь и далее примечания переводчика.)

ее стало менять выражение — сперва любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал, как ни в чем не бывало.

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Биллиард, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверь. В гостиной «тетушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления

и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны *стать* одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будет счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всем мире стали строить из несгораемых материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она погладела на Битти, потом на Монтэга. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет.

— Цветным не нравится книга «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в «большую трубу». Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудиков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и, если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, — это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затощит, — ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которые



ми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня потряхнуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно напоследок. — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потопить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придете,— сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

«Я никогда больше не приду»,— подумал Монтэг.

— Ну поправляйтесь,— сказал Битти.— Выздоровливайте.— И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит.. дядя...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену; она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг»,— говорил диктор,— и еще какие-то слова.— «Миссис Монтэг»— и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда».

Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает.

Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдешь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай, проверись.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрей. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я раз-

бухаю. Как будто я слишком многое держал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму.— Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорит? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива,— рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке.— И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать,— сказал Монтэг.— Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху,— промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился.— Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И, чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня,— сказал он.— Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба запутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие широко открытые глаза. Она повторяла его имя — еще и еще раз,— затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!..— он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он.— Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны

наконец разобраться, почему все так получилось — ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день, два. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на том все кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли».

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «... к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

— Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем слышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, перескакивая с одного на другое, пока наконец не остановился на следующих строках:

«Установлено, что за все это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца».

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди,— ответил Монтэг.— Начнем опять. Начнем с самого начала.

## Часть 2

### *Сито и песок*

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

«Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце».

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— «Наша излюбленная тема: о Себе».— Прищурившись, он поглядел на стену.— «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно,— сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара.

Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим,— спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх.

— Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего на свете! Она была как будто мертвая и вместе с тем живая. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, прочитаешь запись? Не знаю только, под какой рубрики ее искать: «Гай Монтэг», или «Страх», или «Война»? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где ее теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом пронеслись бомбардировщики, один за другим, пронеслись с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они вают у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграла две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слышал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли,— думал он.— Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло все, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-нибудь виноваты,— ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и, когда наконец его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о *самых вещах*, сэр,— говорил Фабер.— Я говорю об их *значении*. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумаги. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки,— сказал старик,— на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас,— удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стеной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования (?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного!

Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть? Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задергались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал ее. Он слышал голос Битти.

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию!»

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез.



— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка,— сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вдох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл,— думал он.— Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?»

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота — изразцы и чернота, цифры и снова чернота, все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный, июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиопупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

«Замолчи,— думал Монтэг.— Посмотрите на лилии, как они растут...»

— Зубная паста Денгэм!

«Они не трудятся...»

— Зубная паста...

«Посмотрите на лилии...» Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. По буквам: Д-е-н...

«Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

«Посмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите!..— эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз два, раз два, раз два три, раз два, раз два, раз два три; все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...»

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились; оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм,— шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев: «Денгэм, Денгэм, Денгэм!!»

Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми каза-

лись его губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился; теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным.— Глаза Фабера были прикованы к книге.— Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Присядьте.— Фабер пяtilся, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню и там — стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет,— сказал Монтэг.— Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да. Простите.— Монтэг протянул ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор...— Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку.— Все та же, так же, точно такая, какой я ее помню! А как ее теперь искаверкали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать,— раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какими-то пряностями из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если

я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых грампластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из мест, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но, когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да, Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью ста миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой «реальностью», как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди». Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда» — такая же реальная, как мир. Она становится истинной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь, — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки

за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертиссмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я еще помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

- Вы этого не сделаете!
- Могу сделать, если захочу.
- Эта книга... не рвите ее!

Фабер опустил на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

- Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?
- Я хочу, чтобы вы научили меня.
- Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

- У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт! Стоит отвести глаза, и я уже все забыл, Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:



— Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприемник «Ракушку».

— Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду, как пчелиная матка, сидящая в своем улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся: — Я вас тоже хорошо слышу, — Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает что может, — ответил Монтэг. Он вложил библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаяюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И все же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь,— его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена...— Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов,— шептал голос Фабера в другом ухе.— Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагаюсь.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте.— Далеко, в другом конце города, тихо зашестели переворачиваемые страницы.— Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищ-

ные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они изгибиво приветствовали друг друга, стараясь перекрыть шум гостинной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг,— предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался,— почти про себя сказал Монтэг.— Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны. Монтэг.

— Чудесное реву, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостинная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг.— Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят,— сказала миссис Фелпс.— То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь,— сказала миссис Фелпс.— Пусть Пит беспокоится,— хихикнула она.— Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да,— подхватила Милли.— Пусть себе Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез и прочих сентиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил наконец недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну, что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена.

Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил, А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем. Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас, что такое! Смотреть было противно.

— И, по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез; через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к черту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о лю-

дах! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я уйду домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки, — миссис Фелпс кивнула головой. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И, если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите да, Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— «Берег Дувра».

Язык Монтэга прилип к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате нечем было дышать. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула на середине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан  
Когда-то полон был и, брег земли обвив,  
Как пояс радужный, в спокойствии лежал.  
Но нынче слышу я  
Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,  
Гонимый сквозь туман  
Порывом бурь, разбитый о края  
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,  
Друг другу верным быть. Ведь этот мир, что рос  
Пред нами, как страна исполнившихся грез,—  
Так многолик, прекрасен он и нов,—  
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,  
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни состраданья,  
И в нем мы бродим, как по полю брани,  
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,  
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей.<sup>1</sup>

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара,— промолвила Милдред.— Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я...— рыдала миссис Фелпс.— Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну, а теперь...— шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул руку сквозь медные бруссы решетки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова,— продолжала миссис Бауэлс.— Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно еще мучить человека этойкой чепухой.

— Клара, успокойся!— увещевала Милдред рыдающую Фелпс, теребя ее за руку.— Прошу тебя, перестань! Мы включим «родственни-

---

<sup>1</sup> Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд. Перевод И. Онышук.

ков», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет,— промолвила миссис Бауэлс.— Я уйду. Если захотите навестить меня и моих «родственников», милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс.— Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбиившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разможжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках аборт, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он.— Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашел наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Несколько не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама уже начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нем заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — и темные, и озаренные ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его наконец переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они



будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное ко-  
мариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, веселый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капелку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизни такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идите вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая Саламандра дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот,— сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты,— вот идет любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью вверх, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету.

— «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как непроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни; они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгагранными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то, чтобы мы вам не доверяли, но знаете ли, все-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж,— сказал Битти.— Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случилось в свое время заблудиться. Правда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. «О мудрость, скрытая в живых созвучьях»,— как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: «Слова листве подобны, и где она густа, там вряд ли плод таится под сению листа»,— сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно,— шептал Фабер из другого далекого мира.

— Или вот еще: «Опасно мало знать; о том не забывая, кастальскою струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же «Опыты». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню,— сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты.— Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько

строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего,— ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть»,— говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти». А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтэг. Все остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его,— шептал Фабер.— Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: «Правда, рано или поздно, выйдет на свет божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О господи, он все про своего коня!» А еще я сказал: «И черт умеет иной раз сослаться на священное писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам»,— как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь все запутать. Довольно!»

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка.— Он мутит воду!

— Ох, как вы испугались,— продолжал Битти.— Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: «Нам не по пути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой вверх: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе Саламандры, словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Все равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперед, вперед!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

Саламандра круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать это,— думал он.— Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь который они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбегались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся.

Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг. — Мы же остановились у моего дома?

## Часть 3

### Огонь горит ярко

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один с сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот,— промолвил Битти,— вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эгэ! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло Саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову: вправо — влево, вправо — влево....

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала....

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закованной руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилась такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненного стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть, вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку ее. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих

плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться, — просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны оचितить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«Ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!

— Монтэг, книги!

Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Было половина четвертого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расплзались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели, — вы по горло увязли в трясине; стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далеко и убежал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемёта. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же, в конце концов, толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.



Лицо Битти расплзлось в чарующе-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угрожаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден». Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дерит! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало...— смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемёт, Гай,— промолвил Битти с застывшей улыбой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма.

Пес сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаинной иглой. Монтэг встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком,— вокруг механического тела зверя завились желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнемётом футов на десять в сторону, к подножью дерева; Монтэг почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватая его за ногу, вонзает иглу,— и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов, распоролو ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем

не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и Саламандра... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

«Ну,— подумал он,— посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходящего в глухой переулочек.

«Битти,— думал он,— теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: «Незачем решать проблему, лучше сжечь ее». Ну вот я сделал и то и другое. Прощайте, брандмейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулочку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержать себя и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостинной, Милдред, Клэррисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие Саламандры, рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулочку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

*Битти хотел умереть.*

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание.

Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь. какой она была несколько дней назад, до того как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь кучка костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни: их надо сжечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио-«Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

«Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг понялся в тень. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле нее, чтобы заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь... Путь куда?

Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его; даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много: казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе милях за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подойдет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымянных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружаю-

щий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать-сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: он слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замешкался на мгновение. Потом крепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно, спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль несся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диовинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибем его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот-шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них острота таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слезы застилали глаза.

Да, его спасло только, то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он не задумываясь, причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся: погруженный в темноту и молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились вертолеты. По пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоюют вдалеке пожарные сирены и Саламандры с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя, как дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я уйду, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета.

Фабер опустил на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хотя в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих урлах еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анжелос, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.



Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не помешает.

Они выпили.

— ...Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой, — их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупинцы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме и снаружи, он был свечащимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пес будет высажен с вертолета у места пожара!

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба вертолет, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне, — думал он, — ах ты, господи, ведь это все обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удовольствием проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объёму пламенем дому мистера и миссис Блэк и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже

под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваётся в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолета плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемет и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что так все вышло.

— Сожалете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю вашу поливную установку в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт, — это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье — старый костюм, чем зановошней, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера,— промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. О, господи, надеюсь наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, приносясь к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предзакатный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье — или, может быть, ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колыхнется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал гнет этой тишины. Наконец он стал невыносим. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пар, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

«Беги,— говорил себе Монтэг,— не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера; поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаинковая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

Монтэгу стало трудно дышать; в груди теснило, словно туда засунули кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Вертолеты были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мушкетер, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку»:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть по счету десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее! Левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к темной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуганные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами; серые мысли в окоченной плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой

тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ядов триста по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры вертолетов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолеты повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная вода и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, от всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю его жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что

создано человеком. сберечь это в книгах, в граммофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтэга.

Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застанут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами геликоптеров.

Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно, в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: «Замолчи! Замолчи!» Милли, Милли». Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена; донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды еще совсем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Прележать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напечет ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнате. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнет глаз и всю ночь на губах его играла улыбка; теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрым телом ветром,— все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок соленожгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним,— шорох, чья-то тень, два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него.

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг перед тобой...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды; ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большим картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как

будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он бред, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заполняет в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте; казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он *согревал*.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой.

Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и, если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплоте потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.



А затем он слышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише,— перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь,— снова прозвучал тот же голос.— Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщевой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь,— сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным.— Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю,— сказал он.— Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер.— Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью.— Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно,— сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и подумали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом слышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шальный лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда геликоптеры вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заматались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские геликоптеры сосредоточиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймают Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе геликоптера, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяца, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пес. Геликоптеры направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени.

— Монтэг, не двигайтесь! — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски окончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля Люкс. Полчасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе.

Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек — воображение зрителя дополнит остальное. О, черт,— прошептал он.

Монтэг молчал; повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами,— продолжал Грэнджер.— Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете; это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассета<sup>1</sup>; вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял всех своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас,— с трудом выговорил наконец Монтэг.— Вся жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь,— Монтэг рукой коснулся лба.

— А,— улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику.— Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг.— Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо.— Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс раз-

<sup>1</sup> Ортега-и-Гассет — видный испанский писатель и философ XX века.

работал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Республику» Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — это «Республика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомиться вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок<sup>1</sup>, Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матвей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Маккиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целости и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети в свою очередь передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя силоком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем,

<sup>1</sup> Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо «Уолден»<sup>1</sup> живет в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрانا Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костер земель. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звезд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудачков с головами, напичканными поэзией, — это им не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует еще Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрепали.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех зна-

---

<sup>1</sup> «Уолден, или Жизнь в лесах» — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Дэвида Торо.

ний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на их лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проводивших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем, они ни в чем не были уверены, кроме одного — они видели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то. Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто неспособен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал — если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был еще мальчиком, умер мой дед; он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки; за свою жизнь он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и, когда он умер, все это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что дал ты городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя.

Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником,— говорил мне дед.— Первый пройдет, и его как ни бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2,— продолжал он.— Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это все равно что булавочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит снести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто, чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво,— сказал он мне однажды.— Шире открый глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту! — говорил он.— Тряхни посылнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновенье началась и окончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронес-

лись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас с ужасающей быстротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета; и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляя камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновение Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!» — зывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило; оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

Беги, беги!

В какую-то долю секунды, пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых не умолкая говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впиалась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может, — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужаса-



ющее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз, на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино, водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесток разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все, — произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носу.

Монтэг лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть,

мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытьи, на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте аелла узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет,— промолвил он после долгого молчания.— Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез.— Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс,— сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрожда-

лась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и все это записано и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

— Теперь мы пойдем вверх по реке,— сказал Грэнджер.— И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

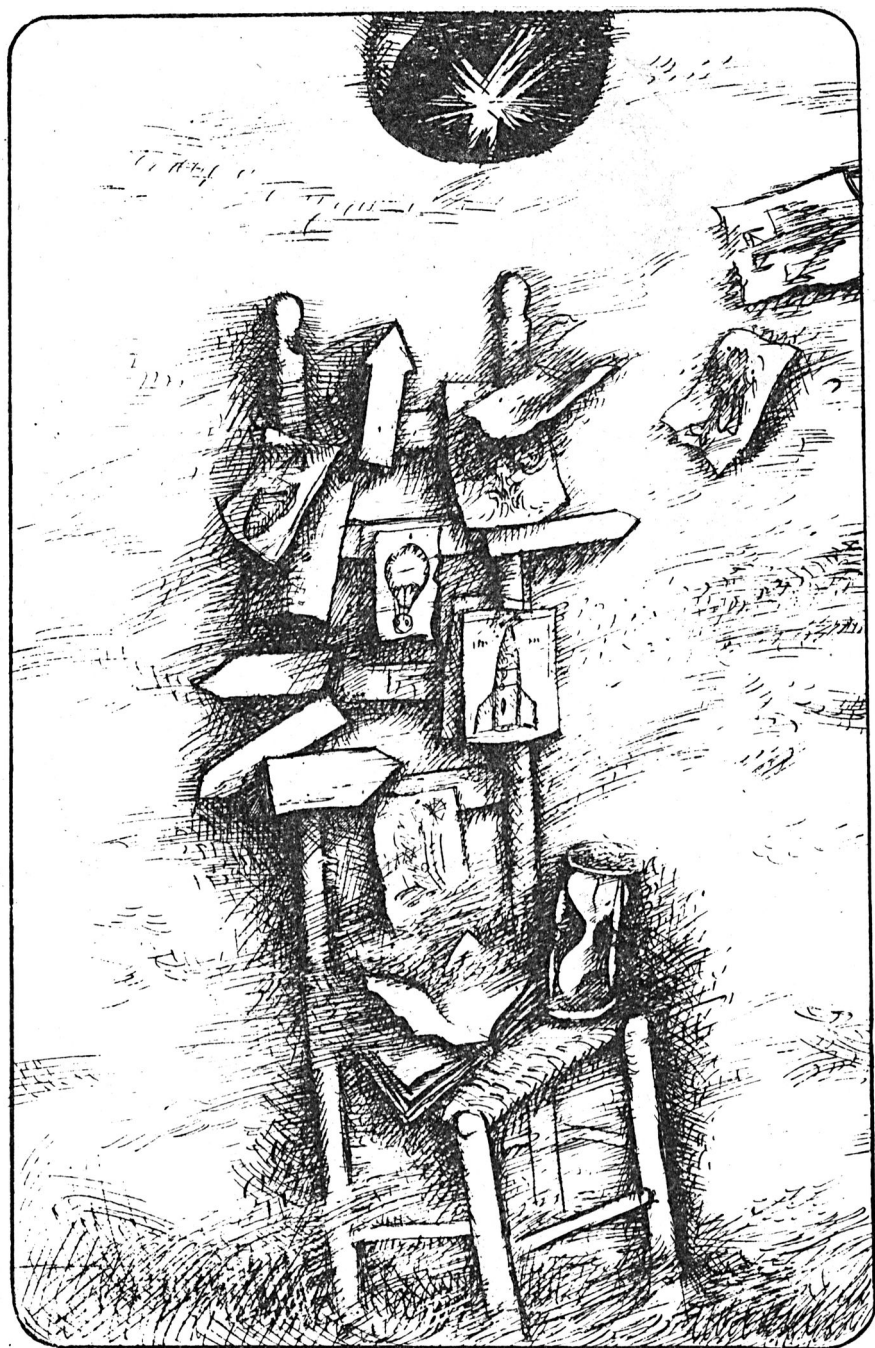
Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идет за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошел вперед. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, еще что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, и вот что я скажу им в полдень. В полдень... Когда мы подойдем к городу.





МАРСИАНСКАЯ  
ХРОНИКА

2

«Великое дело — способность удивляться, —  
сказал философ.  
— Космические полеты снова сделали всех нас детьми».

## Январь 1999

### *Ракетное лето*

Только что была огайская зима: двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам.

И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили открытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава.

*Ракетное лето.* Из уст в уста с ветром из дома в открытый дом — два слова: *Ракетное лето.* Жаркий как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Лыжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли.

*Ракетное лето.* Высунувшись с веранд под дробную капель, люди смотрели вверх на алеющее небо.

Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето...

## Февраль 1999

### *Илла*

Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал ме-

таллическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков.

Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.

Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед.

Теперь они уже не были счастливы.

В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.

Что-то должно было произойти.

Она ждала.

Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.

Но все оставалось по-прежнему.

Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, глядя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге; древние напевы не приедались его пальцам.

Она подумала без волнения: он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.

Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми...

Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась.

И сон явился.

Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.

Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.

В треугольной двери показался ее супруг.

— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.

— Нет! — почти крикнула она.

— Мне почудилось, ты кричала.

— В самом деле? Я задремала и видела сон!

— Днем? Это с тобой не часто бывает.

Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.

— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она. — Этот сон...

— Ну? — Ему явно не терпелось вернуться к книге.

— Мне снился мужчина.

— Мужчина?

— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.

— Что за нелепость: это же великан, урод.

— Почему-то, — она медленно подбирала слова, — он не казался уродом. Несмотря на высокий рост. И у него — ах, я знаю, тебе это покажется вздором, — у него были *голубые* глаза!

— Голубые глаза! — воскликнул мистер К. — О боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь — *черные* волосы?

— Как ты *угадал*?! — воскликнула она.

— Просто назвал наименее правдоподобный цвет, — сухо ответил он.

— Да, черные волосы! — крикнула она. — И очень белая кожа. Совершенно необычайный мужчина! На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной.

Она улыбалась.

— С неба — какая чушь!

— Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце, — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. — Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета, потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю, — это был длинный серебристый корабль, круглый, чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь и вышел этот высокий мужчина.

— Работала бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны.

— А мне он понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. — Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа! Какой странный мужчина — и, однако, очень красивый.

— Самовнушение.

— Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно, он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно... Он посмотрел на меня и сказал: «Я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниел Йорк...»

— Нелепое имя, — возразил супруг. — Таких вообще не бывает.

— Конечно, нелепое, ведь это был сон, — покорно согласилась она. — Еще он сказал: «Это первый полет через космос. Нас всего двое в корабле — я и мой друг Берт».

— *Еще одно* нелепое имя.

— Он сказал: «Мы из города на *Земле*, так называется наша планета», — продолжала миссис К. — Это его слова. Так и сказал — Земля. И говорил он не на нашем языке. Но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно.

Мистер К отвернулся. Ее голос остановил его.

— Илл! — тихо позвала она. — Ты никогда не задумывался... ну... *есть ли* люди на третьей планете?

— На третьей планете жизнь невозможна, — терпеливо разъяснил супруг. — Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода.

— А как было бы чудесно, если бы там *жили* люди! И умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях.

— Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.

Близился вечер, когда она, ступая между колоннами, источающими дождь, запела. Один и тот же мотив, снова и снова.



— Что это за песня? — рявкнул в конце концов супруг, проходя к огненному столу.

— Не знаю.

Она подняла на него глаза, удивляясь сама себе. Озадаченно поднесла ко рту руку. Солнце садилось, и по мере того, как дневной свет угасал, дом закрывался, будто огромный цветок. Между колоннами подул ветерок, на огненном столе жарко бурлило озерко серебристой лавы. Ветер перебирал кирпичные волосы миссис К, тихонько шепча ей на ухо. Она молча стояла, устремив затуманившийся взор золотистых глаз вдаль, на бледно-желтую гладь морского дна, словно вспоминая что-то.

Глазами тост произнеси,  
И я ответу взглядом,—

запела она тихо, медленно, нежно.

Иль край бокала поцелуй —  
И мне вина не надо.

Миссис К повторила мелодию, уже без слов, закрыв глаза, и руки ее словно порхали по ветру. Наконец она умолкла.

Мелодия была прекрасна.

— Впервые слышу эту песню. Ты сама ее сочинила? — строго спросил он, испытующе глядя на нее.

— Нет. Да. Право, не знаю! — Она была в смятении. — Я даже не понимаю слов, это другой язык!

— Какой язык?

Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву.

— Не знаю. — Через мгновение мясо было готово, она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. — Ах, наверно, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю почему.

Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо с шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно-медленно вошла в комнату ночь, темным вином заполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица.

Она снова стала напевать странную песню.

Он вскочил со стула и гневно прошествовал к двери.

Позднее он доел ужин один.

Встав из-за стола, потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил: — Съездим на огненных птицах в город, развлечемся?

— Ты *серьезно*? — спросила она. — Ты не заболел?

— А что тут странного?

— Но мы уже полгода нигде не были!

— По-моему, неплохая мысль.

— С чего это вдруг ты так заботлив?

— Ну, хватит, — брюзгливо бросил он. — Поедешь или нет?

Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь, сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день, то, что не должно было произойти и все же могло, могло случиться... Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни.

— Я...

---

<sup>1</sup> Стихи в переводе Я. Берлина.

— Для тебя же лучше,— настаивал он.— Поехали.  
— Я устала,— ответила она.— Как-нибудь в другой раз.  
— Вот твой шарф.— Он подал ей флакон.— Мы уже который месяц куда не выезжали.  
— Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю.— Она избегала глядеть на него.  
— Дела,— сказал он.  
— Дела? — прошептала она.  
Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и, трепеща, обвилась вокруг ее шеи.

На ровном прохладном песке, светясь, словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром, в воздухе плескался белый балдахин, множеством зеленых лент привязанный к птицам.

Илла легла под балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвигнув, ушли вниз пески; мимо, мимо потянулись голубые холмы, отгеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя, словно тысячи каленых искр, словно багрово-желтый фейерверк, все дальше в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин — трепещущий белый лепесток.

Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома — словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и грезами. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они, будто лунный блик, будто горящий факел.

Она глядела только на небо.

Муж что-то сказал.

Она глядела на небо.

— Ты слышала, что я сказал?

— Что?

Он шумно выдохнул.

— Могла бы быть повнимательнее.

— Я задумалась.

— Никогда не знал, что ты такая любительница природы. Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба,— сказал он.

— Оно очень красиво.

— Я вот о чем подумал,— медленно продолжал супруг.— Не позвонить ли сегодня Халлу? Договориться, что мы приедем — на неделю, не больше! — к ним в Голубые горы. Чем не идея?..

— Голубые горы! — Она схватилась одной рукой за край балдахина и резко повернулась к нему.

— Я ведь только предлагаю.

— И когда ты думаешь ехать? — нервно спросила она.

— Да можно отправиться хоть завтра утром,— подчеркнуто небрежно бросил он.— Сама знаешь: раньше начнешь, скорее...

— Но мы еще *никогда* не уезжали так рано!

— Ну, в этом году в виде исключения...— Он улынулся.— Нам полезно переменить обстановку. Пожить в тиши, в покое. Словом, сама понимаешь. У тебя ведь нет *других* планов? Поедем. решено?

Она вздохнула, помедлила, потом ответила:

— Нет.

— Что? — Его возглас испугал птиц. Балдахин дернулся.

— Нет, — твердо сказала она. — Я не поеду.

Он посмотрел на нее. Разговор был окончен. Она отвернулась.

Птицы летели дальше — десять тысяч гонимых ветром угольков.

На рассвете солнце, пронизав лучами хрустальные колонны, растворило туман, на котором покоилась спящая Илла. Всю ночь она парила над полом, как бы плавая на мягком ложе из тумана, который пролился из стен, едва Илла прилегла. Всю ночь она проспала на этой недвижимой реке, точно челн среди немого потока. Теперь туман улетучивался, и наконец река спала, оставив Иллу на берегу пробуждения.

Она открыла глаза.

Над ней стоял муж. Было похоже, что он стоит тут, наблюдая, уже не один час. Почему-то Илла не могла смотреть ему в глаза.

— Тебе опять снился этот сон! — сказал он. — Ты разговаривала, не давала мне уснуть. Тебе непременно надо показаться врачу.

— Ничего со мной не случится.

— Ты много говорила во сне!

— Да? — Она поспешно села.

В комнате было холодно. Серый утренний свет проявил черты Иллы.

— Что тебе снилось?

Она молчала, вспоминая.

— Корабль. Он снова спустился с неба, и из него вышел высокий человек и заговорил со мной. Он шутил, смеялся, и мне было хорошо.

Мистер К коснулся рукой колонны. Окутанные паром струйки теплой воды вытеснили холодок из комнаты. Лицо мистера К было бесстрастно.

— А потом, — продолжала она, — этот мужчина, у которого такое странное имя — Натаниел Йорк, сказал, что я прекрасна, и... и поцеловал меня.

— Ха! — крикнул муж и отвернулся, играя желваками.

— Но это всего лишь сон. — Ей стало весело.

— Ну и помалкивай про свои нелепые женские сны!

— Ты ведешь себя, как ребенок. — Она откинулась на последние клочья химического тумана. Мгновение спустя тихо рассмеялась.

— Я еще что-то вспомнила — призналась она.

— Ну, что, говори, что! — вскричал муж.

— Илл, ты такой раздражительный!

— Говори! — потребовал он. — У тебя не должно быть секретов от меня!

На нее смотрело сверху его мрачное, суровое лицо.

— Я никогда не видела тебя таким, — ответила Илла; ей было и страшно и забавно. — Ничего такого не было, просто этот Натаниел Йорк сказал... словом, он сказал мне, что увезет меня на своем корабле, увезет на небеса, возьмет меня с собой на свою планету. Конечно, чепуха.

— Вот именно, чепуха! — Он едва не сорвал голос. — Ты бы послушала себя со стороны: заигрывать с ним, разговаривать с ним, петь с ним, и так всю ночь напролет, о боги! *Послушала бы себя!*

— Илл!

— Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле?

— Илл, не повышай голос.

— К черту мой голос! — Он в гневе наклонился над ней. — В этом твоём сне... — он стиснул ее запястье, — корабль сел в Зеленой долине, да? Отвечай!

— Ну, в долине...

— Сел сегодня, под вечер, да? — не унимался он.

— Да, да, кажется, так. Но это же только сон!

— Ладно. — Он сердито отбросил ее руку. — Хорошо, что ты не лжешь! Я слышал все, что ты говорила во сне, каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время.

Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленный молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз — уж не сошел ли он с ума!.. Наконец встала и подошла к нему.

— Илл, — прошептала она.

— Ничего, ничего...

— Ты болен.

— Нет. — Он устало, через силу улыбнулся. — Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая. — Он грубовато погладил ее. — Заработал. Извини, Я, пожалуй, пойду, прилягу...

— Ты так вспыл.

— Теперь все прошло. Прошло. — Он перевел дух. — Забудем об этом. Да, я вчера слышал анекдот про Уэла, хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, я расскажу анекдот, а об этом больше не будем говорить, ладно?

— Это был только сон.

— Разумеется. — Он машинально поцеловал ее в щеку. — Только сон.

В полдень солнце палило, и очертания гор струились в его лучах.

— Ты не поедешь в город? — спросила Илла.

— В город? — Его брови чуть поднялись.

— Ты *всегда* уезжаешь в этот день. — Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты.

Он захлопнул книгу.

— Нет. Слишком жарко. И поздно.

— Вот как. — Она закончила свое дело и пошла к двери. — Я скоро вернусь.

— Постой! Ты куда?

Она была уже в дверях.

— К Пао. Она пригласила меня!

— Сегодня?

— Я ее сто лет не видела. Это же недалеко.

— В Зеленой долине, если не ошибаюсь?

— Ну да, тут рукой подать, и я решила... — Она очень торопилась.

— Извини меня, — сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности. — Я совершенно забыл: я же пригласил к нам сегодня доктора Нлле!

— Доктора Нлле! — Она подалась к двери.

Он поймал ее за локоть и решительно втащил в комнату.

— Да.

— А как же Пао...

— Пао подождет, Илла. Мы должны принять Нлле.

— Я на несколько минут...

— Нет, Илла.

— Нет?

Он отрицательно качнул головой.

— Нет. К тому же до них очень далеко идти. Через всю Зеленую долину, за большой канал, потом вниз... И сегодня очень, очень жарко. И доктору Нлле будет приятно увидеть тебя. Хорошо?

Она не ответила. Ей хотелось вырваться и убежать. Хотелось кричать. Но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню, и с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеля ими.

— Илла,— буркнул он,— ты *останешься* дома, ясно?

— Да,— сказала она после долгого молчания.— Останусь.

— Весь день?

Ее голос звучал глухо:

— Весь день.

Шли часы, а доктор Нлле все не появлялся. Казалось, муж Иллы не очень-то удивлен этим. Уже под вечер он, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие — длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце. Он обернулся — на его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла, маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства; маска, выпуклости и впадины которой в точности отвечали его худым щекам, подбородку, лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно жужжало — оружие, способное с визгом извергнуть полчища золотых пчел. Страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок.

— Куда ты собрался? — спросила она.

— Что? — Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. — Раз доктор Нлле запаздывает, черта, с два стану я его ждать. Пойду, поохочусь. Скоро вернусь. А ты останешься здесь, и никуда отсюда, ясно? — Серебристая маска сверкнула.

— Да.

— И скажи доктору Нлле, что я приду. Только поохочусь.

Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу.

Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам: наводит чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен. Она работала усердно и расторопно, но порой ею овладевала какая-то истома, и она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн.

Она затаила дыхание и замерла в ожидании.

Приближается...

Вот-вот это произойдет.

Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление — это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марево. Воздух давит на уши, и ты натянут как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах, небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом. Цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая. Волосы чуть шевелятся на голове. Где-то в доме поют часы: «Время, время, время, время...» Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода.

И вдруг — гроза! Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного прибоя и громовой черноты.

Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч.

Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь — и она *стрелой* метнется навстречу...

«Сумасшедшая Илла! — мысленно усмехнулась она. — Что за мысли будоражат твой праздный ум?»

И тут — свершилось.

Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверкание металла.

У Иллы вырвался крик.

Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы. Но там уже ничего...

Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит.

Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку.

Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась Зеленая долина, но ничего не увидела.

«Сумасшедшая! — Она вернулась, в комнату. — Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь. Приди в себя».

Она села.

Выстрел.

Ясный, отчетливый, зловещий звук.

Она содрогнулась.

Выстрел донесся издали. Один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел. А за ним второй, четкий, холодный, отдаленный.

Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик, Стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее.

Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль...

Смолкло.

Несколько минут она простояла во дворе, бледная.

Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои, из одного в другой, руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали; в сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа.

И вот издали послышались шаги, хруст мелких камешков под ногами.

Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги.

Шаги нерешительно замедлились перед домом.

Заговорить? Воскликнуть: «Входи, входи же!»?

Она подалась вперед.

Вот шаги уже на крыльце. Рука повернула щеколду.

Она улыбнулась двери.

Дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица.

Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала.

Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул две мертвые пчелы, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты, а Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала.

— Что ты делал? — спросила она.

— Ничего, — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску.

— Ружье...я слышала, как ты стрелял. Два раза.

— Охотился, только и всего. Потянет иногда на охоту... Доктор Нлле пришел?

— Нет.

— Постой-ка. — Он противно щелкнул пальцами. — Ну, конечно, *теперь* я вспомнил. Мы же условились с ним на *завтра*. Я все перепутал.

Они сели за стол. Она глядела на свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде.

— В чем дело? — спросил он, не поднимая глаз, бросая куски мяса в бурлящую лаву.

— Не знаю. Не хочется есть, — сказала она.

— Почему?

— Не знаю, просто не хочется.

В небе родился ветер; солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной.

— Я пытаюсь вспомнить, — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа.

— Что вспомнить? — Он потягивал вино.

— Песню. Эту красивую, чудесную песню. — Она закрыла глаза и стала напевать, но песня не получилась. — Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда. — Она плавно повела руками, точно ритм движений мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. — Не могу вспомнить.

Она заплакала.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю почему, плачу — не знаю почему, но плачу.

Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали.

— До завтра все пройдет, — сказал он.

Она не глядела на него, глядела только на нагую пустыню и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе, а издали доносился крепнувший голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом.

— Да, — повторила она, — до завтра все пройдет.

Август 1999

*Летняя ночь*

Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижные пруды, от горизонта до горизонта блестели каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге

каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемых длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегалч заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебристой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.

На одной эстраде пела женщина.

По рядам слушателей пробежал шелест.

Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу. Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.

Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кто-то вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:

Идет, блистая красотой  
Тысячезвездной ясной ночи  
В соревнованьи света с тьмой  
Изваяны чело и очи.

Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.

— Что это за слова? — недоумевали музыканты.

— Что за песня?

— Чей язык?

Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.

— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.

— Что за мелодию ты играл?

— А ты сам что играл?

Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод объял их, точно с неба пал белый снег.

В темных аллеях под факелами дети пели:

...Пришла, а шкаф уже пустой,  
Остался песик с носом!

— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?

— Она просто пришла нам в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!

Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами взошла зеленая звезда.

На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.

— Что это за мелодия?

В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:

— Ну, успокойся, успокойся же. Спи. Ну, что случилось? Дурной сон?



- Завтра произойдет что-то ужасное.
- Ничего не может произойти, у нас все в порядке.
- Судорожное всхлипывание.

— Я чувствую, *это* надвигается все ближе, ближе, *ближе!*..

— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи...

Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студеном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и безлюдны каменные амфитеатры.

И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку...

## Август 1999

### Земляне

Вот привязались, стучат и стучат!

Миссис Ттт сердито распахнула дверь.

— Ну, в чем дело?

— Вы говорите *по-английски*? — Человек, стоявший у входа, опешил.

— Говорю, как умею, — ответила она.

— *Чистейший английский язык!*

Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое; все они были заметно взволнованы — сияющие, измазанные с головы до ног.

— Что вам угодно? — резко спросила миссис Ттт.

— Вы — *марсианка*! — Человек улыбался. — Это слово вам, конечно, незнакомо. Так говорят у нас, на Земле. — Он кивнул на своих спутников. — Мы с Земли. Я — капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марсе. Вот прибыли. *Вторая* экспедиция! До нас была Первая экспедиция, но ее судьба нам не известна. Так или иначе, мы прилетели. И вы — первый житель Марса, которого мы встретили!

— Марсианка? — Брови ее взметнулись.

— Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно?

— Элементарная истина, — фыркнула она, меряя их взглядом.

— А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята?

— Так точно, капитан! — откликнулся хор.

— Это планета Тирр, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя.

— Тирр, Тирр. — Капитан устало рассмеялся. — *Чудесное* название! Но скажите же, добрая женщина, как объяснить, что вы так великопечно говорите *по-английски*?

— Я не говорю, — ответила она, — я думаю. Телепатия. Всего хорошего!

И она хлопнула дверь.

Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал.

Она распахнула дверь.

— Ну, что еще? — спросила она.

Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней уверенности. Он протянул к ней руки.

— Мне кажется, вы не совсем *поняли*...

— Чего? — отрезала она.

Его глаза округлились от изумления.

— Мы прилетели с *Земли*!

— Мне некогда, — сказала она. — У меня сегодня куча дел — обед, уборка, шитье, всякая всячина... Вам, вероятно, нужен мистер Ттт, так он наверху, в своем кабинете.

— Да, да, — озадаченно произнес человек с Земли, моргая. — Ради бога, позовите мистера Ттт.

— Он занят. — И она снова захлопнула дверь.

На сей раз стук был уж совсем неприличным.

— Знаете что! — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять неожиданностью. — Так не принимают гостей!

— Мой чистый пол! — возмутилась она. — Грязь! Убирайтесь прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь.

Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки.

— Сейчас не время придираться к пустякам, — решительно заявил он. — Такое событие! Его нужно отпраздновать!

Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят.

— Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке, — закричала она, — то я вас *поленом*!..

И она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась — раскрасневшаяся, потная. Ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как насекомое... Резкий, металлический голос.

— Обойдите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Ттт. Какое там у вас дело к нему?

Человек выругался так, словно она ударила его молотком по пальцу.

— Скажите ему, что мы прилетели с Земли, что это впервые!

— Что впервые? — Она подняла вверх смуглую руку. — Ладно, это неважно. Я сейчас.

Звуки ее шагов прошлестели по переходам каменного дома.

А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо — недвижимое, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных следов.

Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос. Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне.

— Закурим? — сказал один из них.

Другой достал сигареты, они закурили. Они выдыхали неторопливые бледные струйки дыма. Разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы.

— Двадцать пять минут, — заметил он. — Что у них там происходит?

Он подошел к окну и выглянул наружу.

— Жаркий денек, — сказал один из космонавтов.

— Да уж, — лениво протянул другой, разморенный полуденным зноем.

Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме — ни звука. Только собственное дыхание слышно.

Целый час прошел в безмолвии.

— Уж не случилось ли из-за нас какой беды? — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда.

Мисс Ттт стояла посреди комнаты, поливая цветы.

— А я все думаю, что я такое забыла... — сказала она, заметив капитана. Она вышла на кухню. — Извините. — Она протянула ему клочок бумаги. — Мистер Ттт слишком занят. — Она повернулась к своим кастрюлям. — Да и все равно вам нужен не он, а мистер Ааа. Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле голубого канала, там мистер Ааа расскажет вам все, что вы хотите знать.

— Нам ничего не надо узнавать, — возразил командир, надув толстые губы. — Мы и так уже знаем.

— Вы получили записку, что еще вам надо? — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться.

— Ладно, — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал. Точно ребенок, глядящий на голую рождественскую елку. — Ладно, — повторил он. — Пошли, ребята.

И все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня.

Полчаса спустя мистер Ааа, который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи, на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые, щурясь, глядели на него.

— Вы мистер Ааа? — справились они.

— Я.

— Нас послал к вам мистер Ттт! — крикнул командир.

— Что за причина? — спросил мистер Ааа.

— Он был занят!

— Ну, знаете, это... — презрительно произнес мистер Ааа. — Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься?

— Сейчас это несущественно, сэр! — крикнул командир.

— Для меня — существенно. У меня накопилась куча книг, их нужно прочесть. Мистер Ттт совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу не размахивать руками, сударь, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. И потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать.

Четверо людей внизу растерянно топтались, разинув рты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах.

— Ну, так вот, — продолжал поучать мистер Ааа, — как, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Ттт вести себя так неучтиво?

Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел:

— Мы прилетели с Земли!

— По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски, — брюзжал мистер Ааа.

— Космический корабль. Мы прилетели на *ракете*. Вот она!

— И ведь он не в первый раз позволяет себе такое безобразие.

— Понимаете — с Земли!

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю его, да-да.

— Мы четверо — я и вот эти трое — экипаж моего корабля.

— Вот возьму и позвоню сейчас же!

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует! — крикнул мистер Ааа и пропал из окна, точно кукла в театре.

Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась перебранка. Капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу ракету — такую изящную, стройную и родную.

Мистер Ааа вынырнул в окошке, торжествуя:

— Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите — дуэль!

— Мистер Ааа, — терпеливо начал капитан.

— Застрелю его насмерть, так и знайте!

— Мистер Ааа, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели шестьдесят миллионов миль.

Мистер Ааа впервые обратил внимание на капитана.

— Постойте, как вы сказали — откуда вы?

Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим: — Наконец-то, *теперь* все в порядке! — И громко мистеру Ааа: — Шестьдесят миллионов миль — с планеты Земля!

Мистер Ааа зевнул.

— В это время года — от силы пятьдесят миллионов, не больше. — Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. — Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок, и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Йопр, там изложите все мистеру Иии. Он именно тот человек, который вам нужен. А не мистер Ттт, этот кретин, — уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я — это не по моей линии.

— Линии, линии! — передразнил его командир. — При чем тут линия, когда надо принять людей с Земли?

— Не говорите глупостей, это всем известно! — Мистер Ааа сбегал по лестнице. — Всего хорошего!

И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль.

Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал:

— Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает.

— Что, если уйги, а потом вернуться, — уныло произнес один из его товарищей. — Взлететь и снова сесть. Чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу.

— Может быть, так и сделаем, — буркнул измученный капитан.

Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга, на них были маски — золотые, голубые, розовые, ради приятного разнообразия, маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурающиеся, сообразно нраву владельца.

Земляне, все в испарине после долгого перехода, остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер Иии.

— Вон там, — кивком указала девочка.

Капитан нетерпеливо, осторожно опустил на одно колено и заглянул в ее милое детское личико.

— Послушай, девочка, что я тебе расскажу.

Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручки, словно приготовился рассказать ей сказку на ночь, сказку, которую складывают в уме не торопясь, с множеством обстоятельных и счастливых подробностей.

— Понимаешь, малютка, с полгода тому назад на Марс прилетала другая ракета. В ней был человек по имени Йорк со своим помощником. Мы не знаем, что с ними случилось. Быть может, они разбились. Они прилетели на ракете. И мы, мы тоже прилетели на ракете. Вот бы ты на нее посмотрела! Большая-пребольшая ракета! Так что мы — *Вторая* экспедиция, а перед нами была Первая. Мы долго летели, с самой Земли...

Девочка бездумно высвободила одну руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю, а капитан все твердил свое. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени, она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски: капитан ласково встряхнул ее и продолжал втолковывать ей свою историю.

— Мы — земляне, — говорил он. — Ты мне веришь?

— Да. — Девчурка искоса глядела, что чертят в пыли пальчики ее ног.

— Ну вот и умница. — Командир наполовину добродушно, наполовину злобно ущипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. — Мы построили себе ракету. Ты *веришь*?

Девочка сунула в нос палец.

— Ага.

— И... нет-нет, дружок, вынь пальчик из носа... и я командир космического корабля, и...

— Еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете, — продекламировала крошка, зажмурив глазки.

— Восхитительно! Как ты угадала?

— Телепатия. — Она небрежно вытерла пальчик о коленку.

— Ну? Неужели это тебе ничуть не интересно? — вскричал командир. — Разве ты *не* рада?

— Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру Иии. — Она уронила игрушку на землю. — Он охотно поговорит с вами.

И она убежала, сопровождаемая по пятам игрушечным пауком. Командир сидел на корточках, протянув руку к девочке и глядя ей вслед. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой...

Мистер Иии сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо...

— Немного внимания, — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. — Мы — с Земли, у нас тут ракета, нас четверо — три космонавта и командир, мы совершенно вымотались, хотим есть, нам бы найти где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде, пусть нам пожмут руки, крикнут «ура», скажут: «Поздравляем, старики!» Вот, пожалуй, и все.

Мистер Иии был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом.

— Боюсь, у меня нет здесь бланков.— Он перерыл все ящики стола.— Куда я их задевал? — Он нахмурился.— Где-то... где-то здесь... А, вот они! Прошу вас! — Он решительно протянул капитану бумаги.— Вам придется это подписать.

— Читать всю эту белиберду?

Толстые стекла очков воззрились на капитана.

— Но вы ведь сами сказали, что вы с Земли? В таком случае вам остается только подписать.

Капитан поставил свою подпись.

— Команда тоже должна подписаться?

Мистер Иии поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом.

— *Им* тоже подписаться?! Ха-ха-ха! Это великолепно! Они... они... — У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давась смехом, рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол.— *Им* — подписаться!..

Космонавты нахмурились.

— Что тут смешного?

— Им — подписаться! — выдохнул мистер Иии, обессиленный хохотом.— Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру Ыыы! — Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться.— Как будто все в порядке.— Он кивнул.— Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым.— Он рассыпался мелким смешком.

— Согласие на что?

— Ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот. Возьмите этот ключ.

Капитан вспыхнул.

— О, это великая честь.

— Это не от города, болван! — рявкнул мистер Иии.— Ключ от Дома. Ступайте по коридору, отпирите большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера Ыыы.

Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись.

— Ну, что еще? В чем дело? — спросил мистер Иии.— Чего вы ждете? Чего хотите? — Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо.— Выкладывайте!

— Боюсь, вы даже не в состоянии... — начал капитан.— То есть я хочу сказать... попытаться, подумать о том... — Он замаялся.— Мы немало потрудились, такой путь проделали, может быть, стоит, ну, что ли, пожать нам руки и сказать... ну, хотя бы: «Молодцы!» — Он смолк.

Мистер Иии небрежно сунул ему руку.

— Поздравляю! — Его губы растянулись в холодной улыбке.— Поздравляю! — Он отвернулся.— А теперь мне пора. Не забудьте про ключ.

И, не обращая на них больше никакого внимания, словно они растаяли, мистер Иии заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше пяти минут, и все это время

он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понутив головы, с потухшими глазами. Выходя, мистер Ини сосредоточенно разглядывал свои ногти...

В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли, захлопнули дверь и осмотрелись кругом.

Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками, разговаривали. Щелчок замка заставил их обернуться, и все воззрились на четверых людей, одетых в форму.

Один марсианин подошел к ним и поклонился.

— Я мистер Ууу, — представился он.

— А я — капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с Земли, — ответил капитан без всякого энтузиазма.

Мгновенно зал точно взорвался!

Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая столы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятиях, подняли всю четверку на руки. Шесть раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала, шесть раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая.

Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу:

— Вот это да! Совсем *другое* дело!

— Здорово! Сразу бы так! Э-гей! Ух ты! Э-э-э-эх!

Они торжествующе подмигивали друг другу, они вскинули руки, хлопая в ладоши.

— Э-гей!!!

— Ура! — вопила толпа.

Марсиане поставили землян на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался.

— Спасибо вам, большое спасибо. Это замечательно....

— Расскажите о себе, — предложил мистер Ууу.

Капитан откашлялся.

Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей, каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации.

Мистер Ууу похлопал капитана по плечу.

— Приятно встретить здесь земляка! Я ведь тоже с Земли.

— То есть как это?

— А вот так. Нас тут много с Земли.

— Вы? С Земли? — Капитан вытаращил глаза. — Не может этого быть! Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же веке начались космические полеты? — В его голосе было разочарование. — Да вы откуда, из какой страны?

— Туизреол. Я перенесся сюда силой духа, много лет назад.

— Туизреол... — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа...

— Вот мисс Ррр, она тоже с Земли. *Верно*, мисс Ррр?

Мисс Ррр кивнула и как-то странно усмехнулась.

— И мистер Ююю, и мистер Щщщ, и мистер Ввв!

— А я с Юпитера,— представился один мужчина, приосанившись.

— А я с Сатурна,— повернул другой, хитро поблескивая глазами.

— Юпитер, Сатурн...— бормотал капитан, моргая.

Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены. И только одна дверь. Капитан нахмурился.

— Чепуха какая-то. Где находится Туизреол? Далеко от Америки?

— Что такое — Америка?

— Вы не слышали про Америку?! Говорите, что сами с Земли, а не знаете Америки!

Мистер Ууу сердито вздернул голову.

— Земля — сплошные моря, одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю.

— Пойдите,— капитан отступил на шаг,— да вы же самый настоящий марсианин! Желтые глаза. Смуглая кожа...

— Земля сплошь покрыта *джунглями*,— гордо произнесла мисс Ррр.— Я из Орри, страны серебряной культуры!

Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера Ууу на мистера Ююю, с мистера Ююю на мистера Ззз, с мистера Ззз на мистера Ннн, мистера Ххх, мистера Ббб. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал:

— Вы поняли, что это такое?

— Что, капитан?

— Это вовсе не торжественная встреча,— устало произнес он.— И не импровизированный прием. И не банкет. И мы здесь не почетные гости. А они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза. Прислушайтесь к их речам!

Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обзирали странный зал.

— Теперь я понимаю,— голос капитана доносился словно издалека.— Понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали к кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера Иии... Ну, а уж он дал точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали...

— Куда мы попали, командир?

Плечи капитана поникли.

— В сумасшедший дом.

Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемежку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу.

— Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно.

— Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?

— Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много.— Он показал на фигуры спящих.— Это же параноики, все



до одного! Но как они нас встретили! Мне даже на минуту показалось, — в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, — что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речи... Ведь здорово было, а?..

— Сколько нас продержат здесь, командир?

— Пока мы не докажем, что мы не психи.

— Ну, это просто.

— *Надеюсь*, что так...

— Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан?

— М-да... Поглядите вон в тот угол.

Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой нагой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая.

Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом — кедровым посохом и наконец обрела свой первоначальный вид.

Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз.

— Колдовство, черная магия, — прошептал один из землян.

— Нет, галлюцинации. Они передают нам свой бред, так что мы видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия.

— Это вас и тревожит, капитан?

— Да. Если галлюцинации кажутся нам — и не только нам всем — такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, не удивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон эта женщина способна превращаться в статую; вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод *нашей* больной фантазии.

Из темноты донесся вздох отчаяния.

Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Из рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями.

Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется.

Мистер Ыы появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем, войти, позвать их к себе и провести в свой маленький кабинет.

Это был добродушный улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру.

— Ну, что вас беспокоит?

— Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так, — сказал капитан.

— Напротив, я вовсе не считаю *всех* вас сумасшедшими. — Психиатр направил на капитана маленькую указку. — Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации.

Капитан хлопнул себя по колену.

— Так вот в чем дело! Вот почему мистер Иии расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки!

— Да, мистер Иии рассказал мне об этом.— Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске.— Отличная шутка. Так о чем я говорил? Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают.

— Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте.

Мистер Ыы был озадачен.

— Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально.

— Ничего, ваяйте, лечите! Вы сами убедитесь, что мы все здоровы.

— Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги, все ли оформлено для «лечения».— Он полистал папку,— так... Видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в Доме, более легкая форма... Но когда дело заходит так далеко, как у вас,— с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми осязательными и оптическими восприятиями,— то, будем говорить начистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Капитан с ревом вскочил на ноги.

— Ну, вот что, хватит нам голову морочить! Начинайте — обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте приседать, задавайте вопросы!

— Говорите на здоровье.

Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал.

— Невероятно,— задумчиво пробормотал он.— В жизни не слышал такого детализированного фантастического бреда.

— Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль! — взревел капитан.

— С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?

— Конечно. Он — в вашей картотеке, на букву «К».

Мистер Ыы внимательно посмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик.

— Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля.

— Разумеется, нет, кретин! Я пошутил. А теперь скажите: сумасшедшие острят?

— Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее.

Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете.

— Та-ак.— Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой.— Можно войти внутрь? — спросил он с хитрецей.

— Входите.

Мистер Ыы вошел в корабль — и застрял там.

— Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого...— Капитан ждал, жуя сигару.— Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом. Более подозрительных пентюхов...

— Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй — ненормальный. Немудрено, что они такие недоверчивые.

— Все равно, мне это осточертело!

Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус, наконец он вышел из корабля.

— Ну, *теперь-то* вы убедились! — крикнул капитан, словно глухой.

Психиатр закрыл глаза и почесал нос.

— Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-либо сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую «ракету». — Он постучал пальцем по корпусу. — Я ее слышу — слуховая иллюзия. — Он втянул носом воздух. — Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. — Он поцеловал обшивку ракеты. — Я ощущаю ее вкус: вкусовая иллюзия!

Он пожал руку капитана.

— Разрешите поздравить вас! Вы психопатический гений! Это — это просто верх совершенства! Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятий — поразительна, невероятна. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом! Ваше безумие совершенно до изумления!

— Мое безумие... — Капитан побледнел.

— Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравитаторы, пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки — я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками — подо всем! Такая концентрация воли! И все — все, сколько я ни проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус! Позвольте мне вас обнять!

Наконец он оторвался от капитана.

— Я напишу об этом монографию; она будет лучшей моей работой! В следующем месяце прочту доклад в Марсианской Академии наук! Одна ваша *внешность* чего стоит! Вы ухитрились изменить даже цвет глаз — вместо желтого голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая! А этот костюм, и пять пальцев на руках вместо шести! Подумать только, полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике! Да еще ваши три приятеля...

Он достал маленький пистолет.

— Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек! Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок?

— Стойте, бога ради! Не стреляйте!

— Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище: я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. Ах, какую статейку я напишу по сегодняшним наблюдениям — «Распад невротических иллюзий»!

— Я с Земли! Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти...

— Знаю, знаю, — ласково сказал мистер Ыы и выстрелил.

Капитан упал с пуль в сердце. Его товарищи закричали.

Мистер Ыы вытаращил глаза.

— Вы продолжаете существовать? Это бесподобно! Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве! — Он направил на них пистолет. — Ничего, я вас заставлю исчезнуть.

— Нет! — крикнули космонавты.

— Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито отметил мистер Ыы, убивая одного за другим всех троих.

Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись.

Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты.

— Она не пропала! Они не исчезли! — Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги.

Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он вскинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну.

— Галлюцинации, — лихорадочно бормотал он. — Вкус. Зрительные образы. Запах. Звук. Ощущение.

Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена.

— Сгиньте! — завопил мистер Ыы, обращаясь к убитым. — Сгинь! — крикнул он ракете.

Он посмотрел на свои дрожащие руки.

— Заразился, — прошептал он в отчаянии. — Перешло ко мне. Теплота. Гипноз. Теперь и я безумен. Все виды мнимых восприятий. — На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. — Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть.

Раздался выстрел. Мистер Ыы упал.

Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же рядом, лежал мистер Ыы.

Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем пригорке, никуда не исчезая.

Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль.

Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло.

## Март 2000

### *Налогоплательщик*

Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги, его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Огайо? Разве он плохой гражданин? Так в чем же дело, почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле: любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами! Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку и искусство! Можете оставаться на Земле, если хотите! Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс! Что надо сделать, где расписаться, с кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету?

Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. И вовсе ему не хочется на Марс, говорили они. Разве он не знает, что Первая и Вторая

экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли?

Но это еще надо доказать, никто не знает этого *точно*, кричал он, вцепившись в проволоку. А может быть, там молочные реки и кисельные берега, может быть, капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться. Ну так как — откроют ему ворота, пусть в ракету Третьей экспедиции, или ему придется вламываться силой.

Они посоветовали ему заткнуться.

Он увидел, как космонавты идут к ракете.

— Подождите меня! — закричал он. — Не оставляйте меня в этом ужасном мире, я хочу улететь отсюда, скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на Земле!

Они силой оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час, а он прильнул к заднему окошку и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя, и услышал могучий гул, и ощутил мощное сотрясение — это серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем не примечательное утро заурядного понедельника.

## Апрель 2000

### *Третья экспедиция*

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос — началась *Третья* экспедиция на Марс!

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

— Марс! — воскликнул штурман Люстиг.

— Старина Марс! — сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

— Добро, — произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием: «Прекрасный Огайо».

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.

— Черт меня побери, — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. — Чтоб мне провалиться!

— Этого просто не может быть, — сказал Сэмюэль Хинкстон.

— Господи, — произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

— Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

— Значит, выходим? — спросил Люстиг.

— Отставить, — сказал капитан Джон Блэк. — Надо еще разобраться, что это такое.

— Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

— Маленький городок, похожий на земные города, — добавил археолог Хинкстон. — Невообразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него.

— Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

— По-моему, это маловероятно, капитан.

Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

— Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет пятьдесят тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых, — поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, — логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо!

— Капитан Уильямс, ну конечно же! — вскричал Хинкстон.

— Что?

— Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниел Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

— Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, — возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое, семьдесят лет. Взгляните на перильные тумбы

крыльца, взгляните на деревья — вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И, пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

— Да к тому же, — добавил Люстиг, — Уильямс и его люди, и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали *эту* сторону.

— Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

— Черт возьми, — сказал Хинкстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!

— Я предпочел бы обождать немного, — сказал капитан Джон Блэк.

— Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование бога!

— Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

— Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно — такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, *детали*... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

— Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись.

— С чем столкнулись? — вмешался Люстиг. — Да ни с чем. Обыкновенный славный, тихий, зеленый городок, и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

— Когда вы родились, Люстиг?

— В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

— А вы, Хинкстон?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.

— Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать *некоторых* стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид — и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он *слишком* похож на Грин-Блафф. — Командир повернулся к радисту. — Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

— Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет — от силы сорок.

— Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть

какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

— Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

— Ладно, передайте людям — привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли, Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неугоминая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли «Прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сипло, невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка.

Мне бы июньскую ночь,  
Лунную ночь — и тебя...

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже.

Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага, под прохладным навесом листьев, журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхала, подпрыгивая телега.

— Капитан, — сказал Сэмюэль Хинкстон, — как хотите, но похоже — нет, *иначе* просто быть *не может*, — полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

— Нет.

— Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? — Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. — Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

— Невозможно, Хинкстон.

— Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

— Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

— Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру.

— И все эти годы жили здесь? — спросил командир.

— Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю.

— У вас это звучит почти правдоподобно.

— Не почти, а вполне! Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.



Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегоревшую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году этак тысяча девятьсот девятом.

— Чем могу быть полезна? — спросила она.

— Прошу прощения, — нерешительно начал капитан Блэк, — но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него темными недоумевающими глазами.

— Если вы что-нибудь продаете... — заговорила женщина.

— Нет, нет, постойте! — вскричал он. — Какой это город?

Она смерила его взглядом.

— Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

— Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

— Вы из бюро переписи населения?

— Нет.

— Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

— Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с Земли.

— Вы хотите сказать, *из-под* земли? — удивилась она.

— Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

— Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Грин-Блафф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру.

Три товарища переглянулись.

— Высадим дверь, — предложил Люстиг.

— Нельзя. Частная собственность. О господи!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

— Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

— Это как же так?

— Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями.

— Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хинкстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в Большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг.

— А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

— Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, — ответила женщина, сидя в калачке и потягивая свой лимонад.

— Ну, слышали? — Люстиг круто обернулся. — Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели в прошлое! Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

— Разве я за этим летел? — заговорил капитан. — Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

— Кто в этом городе поверит нам? — отозвался Хинкстон. — Ох, в опасную игру мы ввязались!.. Это же *время*, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?

— Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

— Я привык во всем добираться до смысла, — сказал командир. — А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон подумал.

— Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле *Земля*, а никакой не Марс.

— Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы попали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать.

— В самую точку, капитан! — воскликнул Люстиг.

— Без промаха! — добавил Хинкстон.

— Добро. — Капитан вздохнул. — Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хотя какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение *правильно*... — Он улыбнулся. — Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей!

— Вы уверены? — сказал Люстиг. — Как-никак, эти люди своего рода пилигримы, они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

— Наше оружие лучше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.

— Капитан, — произнес он.

— В чем дело, Люстиг?

— *Капитан*... Нет, вы только... Что я *вижу*!

По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:

— Эй, послушайте!

— Остановите его! — Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

— Бабушка, бабушка! — звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

— Дэвид! — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. — Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

— Бабушка, бабушка! — всхлипывал Дэвид Люстиг. — Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.

— Входи же, входи мальчуган. Тебя ждет чай со льда, свежий, пей вволю!

— Я с друзьями. — Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хинкстона. — Капитан, идите же.

— Здравствуйте, — приветствовали их старики. — Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

— Пейте на здоровье.— Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

— И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстиг.

— С тех пор как умерли, — с ехидцей ответила она.

— С тех пор как... что? — Капитан Блэк поставил свой стакан.

— Ну да, — кивнул Люстиг. — Они уже тридцать лет как умерли.

— А вы сидите как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан.

— Полно, сударь! — Старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. — Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. — Потрогайте.

Капитан потрогал.

— Ну как, настоящая?

Он кивнул.

— Так чего же вам еще надо? — торжествующе произнесла она. — К чему вопросы?

— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

— А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути господни.

— Так что же, здесь — царство небесное? — спросил Хинкстон.

— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснял нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что *до* нее не было еще одной?

— Хороший вопрос, — сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

— Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

— Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

— Но вы ведь еще придете? — всполошились старики. — Мы ждем вас к ужину.

— Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь.

Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

— Что это? — спросил Хинкстон.

— Сейчас узнаем. — И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торпливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали: «Ура!» Толстые мужчины угощали знако-

мых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки — мать с одной стороны, отец или сестра с другой — и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

— Стой! — кричал капитан Блэк.

Одна за другой наглухо захлопнулись двери.

Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

— Дезертиры! — воскликнул командир. — Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!..

— Капитан, — сказал Люстиг, — не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

— Это не оправдание!

— Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

— У них был приказ, черт возьми!

— А как бы вы поступили, капитан?

— Я бы выполнял приказ... — Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

— Джон! — крикнул он и бросился к ним.

— Что? — Капитан Блэк попятился.

— Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

— Ты?... — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, кто же еще!

— Эдвард! — Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. — Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг другой негнущимися, непослушными ногами. — Мать и отец живы? Где они?

— В нашем старом доме, на Дубовой улице.

— В старом доме... — Глаза капитана светились восторгом и изумлением. — Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он заметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся.

— Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

— Да... Да... — Капитан зажмурился. — Сейчас я открою глаза, и тебя не будет. — Он моргнул — Ты здесь! Господи. Эд, ты великолепно выглядишь!

— Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

— Капитан,— сказал Люстиг,— если я понадобится, я — у своих стариков.

— Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

— Вот и наш дом. Вспоминаешь?

— Еще бы! Спорим, я первый добежу до крыльца!

Они побежали взапуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

— Я — первый! — крикнул Эдвард.

— Еще бы,— еле выдохнул капитан,— я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня *всегда* обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях была мама — полная, розовая, сияющая. За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

— Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее — совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

— Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка,— сказала мама.

— Завтра утром проснусь,— сказал капитан,— и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

— К чему такие мысли! — воскликнула она ласково.— Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы.

— Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

— Ты устал, сынок.— Отец указал мундштуком трубки: — Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами — все как было.

— Но мне надо собрать моих людей.

— Зачем?

— Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

— Доброй ночи, сынок.— Мама поцеловала его в щеку.— Как славно, что ты дома опять.

— Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

— Слишком много сразу, — промолвил капитан. — Я обессилел от усталости. Столько событий в один день! Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей пропитан впечатлениями...

Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

— Так вот он какой, Марс, — сказал капитан, раздеваясь.

— Да, вот такой. — Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало — сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон — он тихо наигрывал «Всегда».

Блэку вспомнилась Мерилин.

— Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу.

— Да. — Помешкал и добавил: — Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

— Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

— Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

— Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь склынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. Все — все были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни... Зато теперь...

«Каким образом? — дивился он. — Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это — неизреченная благостность божественного провидения? Неужто бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?»

Он взвесил теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово.

И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая теория. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если *предположить*. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим — просто так, курьеза ради, — что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усилив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все это продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем *иные*, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все, как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда *действительно* были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и *еще висели* в домах картины Максфилда Парриша, когда были бисерные портьеры, и песенка «Прекрасный Огайо», и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из *моего сознания*? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по *моим* воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад, — разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать, — да тут от счастья вообще онемеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, кто лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, — станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и проделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами....



Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх. Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

— Ты куда?

— Что?

Голос брата стал ледяным.

— Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

— За водой.

— Ты не хочешь пить.

— Хочу, правда же хочу.

— Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды.

Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежерытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит.

Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять — то ли мэр, то ли кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет «внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь...»

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громяхющей меди в город, и в этот день все отдыхали.

## Июнь 2001

### *И по-прежнему лучами серебит простор луна...*

Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал — просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.

Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хетзуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.

Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат... Вот только пройдет ощущение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать *этой*, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.

Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:

— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?

— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.

Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.

Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.

— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.

Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.

— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.

Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни — пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс!

Но пока все помалкивали.

Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все это уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но его заставили замолчать. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки; еда казалась очень вкусной, вино — еще вкуснее.

В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк и оттуда вышел Хетэуэй, врач и геолог, — у каждого участника экспе-

диции были две специальности, для экономии места в ракете. Хетэуэй, не торопясь, подошел к капитану.

— Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер.

Хетэуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера:

— Вон тот город мертв, капитан, мертв уж много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город, в двухстах милях отсюда...

— Ну?

— Еще на прошлой неделе там жили.

Спендер встал.

— Марсиане, — добавил Хетэуэй.

— А где они теперь?

— Умерли, — сказал Хетэуэй. — Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов!словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли *совсем* недавно, самое большее дней десять назад.

— А в других городах? Хоть *что-нибудь* живое вы видели?

— Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.

— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.

— Вы не поверите.

— Что их убило?

— Ветрянка, — коротко ответил Хетэуэй.

— Не может быть!

— Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк — все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, *сделали* с марсианами.

— И нигде никаких признаков жизни?

— Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но, даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета.

Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка, господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и — погибает. Часть умерла еще до нашей эры — пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть. Но остальные! Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с изысканным, или грозным, или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми, их доконала ветрянка, детская болезнь, болезнь, которая на Земле не убивает *даже детей!* Это неправильно, несправедливо. Это все равно что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скопил грибок! Хоть бы дали мы марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь *иную* причину смерти. Так нет же — какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть, это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром!

— Ладно, Хетэуэй, теперь перекусите.

— Спасибо, капитан.

И все! Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.

Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче.

Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.

Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов, он не мог угадать каких: цветы, химические вещества, пыль, ветер...

— Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку, — черт, забыл, как ее звали... Гинни! — орал Биггс. — Девчонка была что надо!

Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими, прозрачными веками.

— Вот Гинни и говорит мне... — продолжал Биггс.

Раздался дружный хохот.

— Ну, я ей и вмазал! — выкрикнул Биггс, не выпуская из рук бутылки.

Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями — точно холодные льдины на дне высохшего моря...

— Какая девчонка, блеск! — Биггс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. — Сколько их было — такой не попадалось!

В воздухе стоял резкий запах потного тела Биггса. Спендер дал костру потухнуть.

— Эй, Спендер, уснул, что ли, подкинь дров! — крикнул Биггс и снова присосался к бутылке. — Ну, так вот, однажды ночью мы с Гинни...

Один из космонавтов, по фамилии Шенке, принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.

— Э-эх! — вопил он. — Живем!

— Ого-го! — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.

Трое стали в ряд и задрывали ногами, наподобие девиц из бурлеска, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубашу и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки.

Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря, огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер.

Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то сосал губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Биггс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.

— Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чероки капитану и затанул песню.

Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга! Что за ночь! Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично, хотя бы первые дни».

— Хватит.— Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость.

Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.

Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.

Биггс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающий-ся звук.

— Я нарекаю тебя, нарекаю тебя, нарекаю тебя... — заплетающимся языком бормотал Биггс.— Нарекаю тебя именем Биггс, Биггс, канал Биггса...

Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биггсу. Он ударил Биггса сперва по зубам, потом в ухо. Биггс покачулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Биггс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.

— Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что? — допытывались они.

Биггс выбрался на берег и встал на ноги, вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу заметил, что Спендера держат.

— Так, — сказал он и шагнул вперед.

— Прекратить! — рявкнул капитан Уайлдер.

Спендера выпустили. Биггс замер, глядя на капитана.

— Ладно, Биггс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться! Спендер, пойдемте со мной!

Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру.

— Может быть, вы объясните, в чем дело? — сказал он.

Спендер смотрел на канал.

— Не знаю. Мне стало стыдно. За Биггса, за всех нас, за этот содом. Господи, какое безобразие!

— Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу.

— Но где их уважение, командир? Где чувство пристойности?

— Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов.

— Слушаюсь, командир. Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что Они видят, как мы дураков корчим.

— Они?

— Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно.

— Безусловно, мертвые, — ответил капитан. — Вы думаете, Они знают, что мы здесь?

— Разве старое не знает всегда о появлении нового?

— Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.

— Я верю в вещи, сделанные трудом, а все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги, наверно, есть, и широкие каналы, башни с часами, стойла — ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с двенадцатью ногами, почему мы можем знать? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался, — я скажу да. А они здесь, вокруг нас, — вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена.

Пользуясь этими вещами, мы всегда, неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так — мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени, для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом — настоящего общения никогда не будет. В конце концов это доведет нас до бешенства и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроем ее по своему вкусу.

— Мы не разрушим Марс, — сказал капитан. — Он слишком велик и великолепен.

— Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь — здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обожинаемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое, *собственное* имя.

— Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия, а мы что ж, мы согласны ими пользоваться.

— Кучка людей вроде нас — против всех дельцов и трестов? — Спендер поглядел на отливающие металлом горы. — Они *знают*, что мы сегодня появились здесь, будем пакостить им; они должны нас ненавидеть.

Капитан покачал головой.

— Здесь нет ненависти. — Он прислушался к ветру. — Судя по их городам, это были хорошие, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне, — велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Биггс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались! Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь — выше голову! Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.

Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, теребил аккордеон, и пыль покрывала исцелованную губную гармонику.

Она засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался.

Но и веселье тоже стихло.

Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.

— А ну, ребята, давай! — Биггс, в чистой сухой одежде, выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет. — Давайте все сюда!

Никто не тронулся с места.

— Эй, Уайти, что же твоя гармоника?

Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.

— Вы что, *на поминках*, что ли? — не унимался Биггс.

Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.

— Ладно, тогда мы с бутылочкой, повеселимся вдвоем. — Биггс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку.

Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру: нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.

— Кто хочет, может пойти со мной в город, — объявил капитан — Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие — на всякий случай.

Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось четырнадцать, включая Биггса, который стал в строй, гогоча и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться.

— Ну, потопали! — заорал Биггс.

Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали: вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе, возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины верхом на закованном в латы древнем коне немыслимых кровей, с невиданной родословной.

Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем, слышалось невнятное бормотание, странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтам, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат... Город был полон видениями.

— Э-гей! — крикнул Биггс, выпрямившись и сложив ладони рупором. — Эй, кто тут есть в городе, отзовись!

— Биггс! — сказал капитан.

Биггс умолк.

Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они

были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо спросил: как сумели они построить такой долговечный город? Побывали ли они на Земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили они и ненавидели, как мы? И были ли их безрассудства такими же, когда они совершали их?

Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их; тихий ветер овеивал их.

— Лорд Байрон, — сказал Джефф Спендер.

— Какой лорд? — Капитан повернулся к нему.

— Лорд Байрон, поэт, жил в девятнадцатом веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт.

Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.

— Что же это за стихотворение? — спросил капитан.

Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая, на мгновение зажмурился, затем его тихий голос стал неторопливо проносить слова стихотворения, и все слушали его, не отрываясь:

Не бродить уж нам ночами,  
Хоть душа любви полна,  
И по-прежнему лучами  
Серебрят простор луна.

Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам.

Меч сотрет железо ножен,  
И душа источит грудь,  
Вечный пламень невозможен,  
Сердцу нужно отдохнуть.

Пусть влюбленными лучами  
Месяц тянется к земле,  
Не бродить уж нам ночами  
В серебристой лунной мгле<sup>1</sup>.

Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.

Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам, густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биггсу. Его продолжало тошнить.

Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.

---

<sup>1</sup> Стихи в переводе Ю. Вронского и Я. Берлина.



Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.

Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.

— Вы не спите, командир?

— Жду Спендера.— Капитан слабо улыбнулся.

Мак-Клюр подумал.

— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.

Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.

Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деваться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще он нытик и брзга. Ушел, и черт с ним!

Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал...

Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.

Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.

— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.

— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.

— Что ты сказал? — спросил Биггс.

— Я убью тебя.

— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?

— Встань, умри, как мужчина.

— Бога ради, убери пистолет.

Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрезанно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.

Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете; несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил кок.

— А вот и наш Одинокый Волк идет, — сказал кто-то.

— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!

Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.

— Дались тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске. — Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался.

— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?

Четверо космонавтов отложили свои вилки.

— Марсианина? Где?

— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?

— Я-то знаю, что бы я чувствовал,— сказал Чероки.— В моих жилах есть кровь племени черокеев. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.

— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.

Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.

— Ну, так вот,— сказал Спендер.— Я встретил марсианина.

Они недоверчиво смотрели на него.

— Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже и не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письма, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письмами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык,— это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.

— Не вижу никакого марсианина,— возразил Чероки.

— Очень жаль.

Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.

Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.

— Можешь пойти со мной,— сказал Спендер.

Чероки не ответил.

— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию.— Спендер ждал. Наконец к Чероки вернулся дар речи.

— Ты их убил,— произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.

— Они это заслужили.

— Ты сошел с ума!

— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно бледный, со слезами на глазах.— Уходи, убирайся прочь!

Лицо Спендера окаменело.

— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.

— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.

Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.

Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.

— Перестать! Сейчас же! — приказал он своему телу.

Каждая клеточка судорожно дрожала.

— Перестань!

Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмирненных коленях.

Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: «Нет!», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.

Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.

По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загорюю им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.

— Собрать всех людей! — приказал капитан.

Паркхилл побежал вдоль канала.

Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.

Экипаж собрался.

— Кого не недостает?

— Все того же Спендера. Биггса мы нашли в канале.

— Спендер!

Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.

— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.

— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!

Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.

— Возьмите лопаты, — сказал он.

Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.

Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.

— Пошли, — сказал он.

Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно пригласившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десятилетиями давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.

Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».

Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.

Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог...

Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.

Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать в полчас в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.

Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.

Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходитьсь, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать...

«Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево, — подумал Спендер. — Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно... Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому, что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?»

Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.

Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.

Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторо-

ну, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.

Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.

Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.

— Сигарету? — предложил капитан.

— Спасибо. — Спендер взял одну.

— Огоньку?

— Свой есть.

Они затаились раз-другой в полной тишине.

— Жарко, — сказал капитан.

— Очень.

— Как вы тут, хорошо устроились?

— Отлично.

— И сколько думаете продержаться?

— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.

— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность?

Вы вполне могли это сделать.

— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные неправы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.

— Восстановили?

— Не совсем. Но вполне достаточно.

Капитан разглядывал свою сигарету.

— Почему вы так поступили?

Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.

— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.

— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.

— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое....

— Думаете, они дознались, что к чему?

— Уверен.

— И по этой причине вы стали убивать людей.

— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мексику. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлось по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе

перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну, скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?

Капитан молчал и слушал.

Спендер продолжал:

— А все прочие воротили? Боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы! История не простит Кортеса.

— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно,— заметил капитан.

— А что мне оставалось делать? Спорить с вами. Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.

— Но вышло иначе.

— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.

— Расчет верный.

— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?

— Вы все продумали, — признал капитан.

— Вот именно.

— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.

— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим.

Капитан кивнул.

— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.

— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить, в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.

— А марсиане, выходит, *нашли* верный путь? — осведомился капитан.

— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.

— Прямо идеал какой-то!

— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.

— Мои люди ждут меня.

— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.

Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.

Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризy с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.

— Вот вам ответ, капитан.

— Не вижу.

— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.

— Язычество какое-то.

— Напротив, это символы бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.

— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.

— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это

же все вопрос меры. Землянин рассуждает: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».

Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.

— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.

— Вам стоит только захотеть.

— Вы предлагаете это *мне*?

— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.

— Это все довольно заманчиво.

— И все же вы не останетесь?

— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.

— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.

— Вы оптимист.

— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?

Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.

— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это...

— Мне тоже. А теперь, пожалуйста, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.

— Пожалуйста.

— Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы.

— Что?

— Я с самого начала решил пощадить вас.

— Вот как...

— Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.

— Нет, — сказал капитан. — В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.

— Даже если у вас будет возможность остаться здесь?

— Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли.

Они вернулись на прежнее место.

— Пойдете со мной добровольно, Спенсер? Предлагаю в последний раз.



— Благодарю. Не пойду.— Спендер вытянул вперед одну руку.— И еще одно, напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят, пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет...

— Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо.

— Вы странный человек,— сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе, навстречу теплему ветру.

Капитан наконец вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дожидаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал.

— Выпить есть у кого? — спросил капитан.

Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.

— Спасибо.

Он глотнул. Вытер рот.

— Ну, так,— сказал капитан.— Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать.

— Я раскрою ему его проклятую башку,— буркнул Сэм Паркхилл.

— Нет, только в сердце,— сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.

— Его проклятую башку,— повторил Паркхилл.

Капитан швырнул ему флягу.

— Вы слышали мой приказ? Только в сердце.

Паркхилл что-то буркнул себе под нос.

— Пошли,— сказал капитан.

Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.

«Как противно быть ловким и расторопным,— думал капитан,— когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и *не хочешь* им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?..»

Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина кластрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»

Его люди перебежали, падали, снова перебежали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им пришлось по пяти минут отсиживать, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.

Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.

— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.

Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.

— Что вы затеяли? — спросил он обессиленную руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.

— Господи, что это я!

Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.

Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пол. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет, сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.

— Эй, ты! — крикнул Паркхилл. — У меня тут пуля припасена для твоего черепа!

Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же, — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, зляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человеке, ну, пока не поздно».

Спендер не двигался с места.

«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.

Он взял свой пистолет. Понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.

Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.

— Нет, Паркхилл, — сказал капитан. — Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам.

Он поднял пистолет и прицелился.

«Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан. — Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение».

Он кивнул головой Спендеру.

— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. — Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!

Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.

— Уходи, Спендер, уходи живей!

Тридцать секунд истекли.

Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.

— Спендер, — сказал он, выдыхая.

Он спустил курок.

Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.

Капитан встал и крикнул своим людям:

— Он мертв.

Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.

Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.

Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:

— В грудь?

Капитан опустил взгляд.

— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.

— Кто ведает? — произнес кто-то.

А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.

«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»

Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.

«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он. — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним, и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».

Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:

— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, — мы бы что-нибудь придумали.

— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с такими, как он?

Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.

— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.

Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные де-

сять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.

Они постояли в древнем склепе.

— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.

Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.

На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

## Август 2001

### *Поселенцы*

Земляне прилетали на Марс.

Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: **ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ!** И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу — сначала он с кулак размером, затем — с лимон, с булавочную головку, наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мгlistый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.

Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться только на себя...

## Декабрь 2001

### *Зеленое утро*

Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других:

с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.

Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рожающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево, чего-чего только оно не может... Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках... Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.

Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет... Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.

Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насивистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче...

— Тебе нужен воздух, — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза... Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что, и устал. Все равно, что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься.

Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.

— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул. — В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблоны. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!

Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»

И потерял сознание.

Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.

— Ничего, оправитесь, — сказал врач.

— А что со мной было?

— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.

— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. Я останусь здесь!

Его оставили в покое; он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегонной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух, — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. — Воздух, воздух...» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья — тоже ни деревца, ни травинки.

Ну конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбудорила. Деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа: бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну — особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва... Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья — ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве — нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения.

— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!

Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.

— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом...

— Но вы мне разрешите?

Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.

Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.

...Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.

Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью, — по-

думал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь. — Сегодня ночью».

Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.

По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.

Дождь.

Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнувший чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.

Дождь.

Он сел. Одеало съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода, вода...

Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.

Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чистые вымытые звезды, яркие, как никогда.

Бенджамен Дрисколл достал из целлофановой сумки сухую одежду, переделся, лег и, счастливый, уснул.

Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрисколла.

Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц он работал, работал и ждал... Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел.

Утро было зеленое.

Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи, что он посадил, семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты — подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки.

— Невероятно! — воскликнул Бенджамен Дрисколл.

Но долина и утро были зеленые.

А воздух!

Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород — свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танце.

Бенджамен Дрисколл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание.

Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу поднялось еще пять тысяч деревьев.

## Февраль 2002

### *Саранча*

Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное, рот ошетилен гвоздями, словно стальноразрубающая пасть хищника, сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями, и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.

За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Девяносто с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие...

## Август 2002

### *Ночная встреча*

Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.

— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.

Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.

— Ничего.

— А как тебе Марс нравится, старина?

— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь *все* не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это *марсианская* погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему остертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь



отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь *все* не так.

— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.

— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже *время* шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-единешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрустала, лоскутки, бусинки, всякая мишура... А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.

Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.

Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.

Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как *выглядит* Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время, и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже *пощупать*.

Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.

Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые лунной белое здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.

Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда

можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.

Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он заметил какое-то движение, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.

Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью морозящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел, будто в колодезь.

Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!», но губы его не шевельнулись. Потому что это был марсианин. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.

У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.

Первым решился Томас.

— Привет! — сказал он.

— Привет! — сказал марсианин на своем языке.

Они не поняли друг друга.

— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.

— Что вы сказали? — продолжали они, каждый на своем языке.

Оба нахмурились.

— Вы кто? — спросил Томас по-английски.

— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.

— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.

— Меня зовут Томас Гомес.

— Меня зовут Мью Ка.

Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.

Вдруг марсианин рассмеялся.

— Подождите!

Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.

— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!

— Вы так быстро выучили мой язык?

— Ну что вы!

Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.

— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.

— Выпьем чашечку? — предложил Томас.

— Большое спасибо.

Марсианин соскользнул со своей машины.

Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.

Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.

— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.

— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.

— Видели, что произошло? — прошептали они.

Оба похолодели от испуга.

Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.

— Господи! — ахнул Томас.

— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.

— Эй! — крикнул Томас.

— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.

Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.

Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.

— Звезды! — сказал Томас.

— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.

Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.

— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.

— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.

Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке, — подумал он, — я существую».

Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.

— Я не бесплотный, — негромко сказал он. — *Живой!*

Томас озадаченно глядел на него.

— Но если я существую, значит, вы — мертвый.

— Нет, вы!

— Привидение!

— Призрак!

Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой — ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, лоящая и излучающая свет далеких миров...

«Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»

Они стояли на древнем шоссе, и оба не шевелились.

— Откуда вы? — спросил наконец марсианин.

— С Земли.

— Что это такое?

— Там. — Томас кивком указал на небо.

— Давно?

— Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?

— Нет.

— А вы все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве вы этого не знаете?

— Это неправда.

— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.

— Что за вздор, *мы живы!*

— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.

— Я не спасся, не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских Гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.

Томас посмотрел и увидел развалины.

— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!

Марсианин рассмеялся.

— Мертв? Я ночевал там вчера!

— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?

— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.

— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.

— Улицы чистые!

— Каналы давно высохли, они пусты.

— Каналы полны лавандового вина!

— Город мертв.

— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы *не видите?*

— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего оregonского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня sprыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...

Марсианин востепенелся.

— Вы говорите — в *той* стороне?

— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?

— Нет. —

— Да вон же, *вон*, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки

— Не вижу.

Теперь рассмеялся Томас.

— Да вы ослепли!

— У меня отличное зрение. Это вы не видите.

— Ну хорошо, а новый *поселок* вы видите? Или тоже нет?

— Ничего не вижу, кроме океана — и как раз сейчас отлив.

— Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад.

— Ну, знаете, это уж чересчур.

— Но это правда, уверяю вас!

Лицо марсианина стало очень серьезным.

— Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушайтесь! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние

Томас прислушался и покачал головой.

— Нет.

— А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?..

Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.

— А может быть?..

— Что?

— Вы сказали «с неба»?

— С Земли.

— Земля — название, пустой звук... — произнес марсианин. — Но... час назад, когда я ехал через перевал... — Он коснулся своей шеи сзади. — Я ощутил...

— Холод?

— Да.

— И теперь тоже?

— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во вселенной...

— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.

Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.

— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!

— Нет, это вы из Прошлого, — сказал землянин, поразмыслив.

— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?

— Две тысячи второй!

— Что это говорит мне?

Томас подумал и пожал плечами.

— Ничего.

— Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летоисчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?

— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я — Будущее. Я жив, а вы мертвы!

— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот: два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?

— Да. Вам страшно?

— Кому хочется увидеть Будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть Прошлое, но чтобы...! Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли? — Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город. — Но вон же они! Я их вижу. И мне этого достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили.

Точно так же вдали ждали Томаса ракеты, и поселок, и женщины с Земли.

— Мы никогда не согласимся друг с другом, — сказал он.

— Согласимся не соглашаться, — предложил марсианин. — Прошлое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет — завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы — не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.

Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест.

Их руки не соприкоснулись — они растворились одна в другой.

— Мы еще встретимся?

— Кто знает? Возможно, когда-нибудь.

— Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике.

— А мне — попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось.

— До свидания, — сказал Томас.

— Доброй ночи.

Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже, землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.

— Господи, что за сон, — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виски, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье.

«Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях.....

Ночь была темна. Луны зашли. Лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа, ничего. И так было до конца этой прохладной темной ночи.

## Октябрь 2002

### *Берег*

Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна непохожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза, как шляпки гвоздей, руки, одубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем, они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огня.

Они были первыми мужчинами на Марсе.

Каковы будут первые женщины — знали все.

Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка и Австралия,

и Океания только смотрели, как исчезают в выси римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне.

Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка.

И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к господу богу...

## Февраль 2003

### *Интермедия*

Они привезли с собой пятнадцать тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства Десятого города и семьдесят девять тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79. А теперь споем 94». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки — это работали писатели; или скрипели перья — там творили поэты; или царил тишина — там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув...

## Апрель 2003

### *Музыканты*

В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытный дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга преступить запреты их строгих родительниц. Они бежали взапуски:

— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!

Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегаешь по опавшей листве.

Горстью звучных камешков высыпали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже

не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город, и все двери открыты... И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец выплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»

И вот они в мертвом городе, мальчишья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом:

— Ну, давай!

Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полудночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат! Ребра — паучьи ноги, ребра — гулкие струны арфы, и черной выюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булкала апельсиновая вода.

Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обычного... Игратьте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут Пожарные!

И вот, светяся капельками пота, впиваются зубами в последний утроброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.

Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай: обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.

К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны, потехе пришел конец.

## Июнь 2003

### *...Высоко в небеса*

- Слышал?
- Что?
- Негры-то, черномазые!
- Что такое?
- Уезжают, сматываются, драпают — неужели не слышал?
- То есть, как это сматываются? Да как они могут!
- Могут. Уже...''
- Какая-нибудь парочка?
- Все до одного! Все негры южных штатов!
- Не-е...''
- Точно!



— Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку?

Пауза.

— На Марс.

— То есть — на *планету* Марс?

— Именно.

Они стояли под раскаленным навесом на веранде скобяной лавки. Один бросил раскуривать трубку. Другой сплюнул в горячую полуденную пыль.

— Не могут они уехать, ни в жизнь.

— А вот уже уезжают.

— Да откуда ты взял?

— Везде говорят, и по радио только что передавали.

Они зашевелились — казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэль Тис, хозяин скобяной лавки, натянуто рассмеялся.

— А я-то не возьму в толк, что стряслось с Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли напрямиком на Марс, дурень черномазый?

Мужчины фыркнули.

— А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, вооружения я не потерплю ни от кого.

— Слушайте!

Они повернулись, раздраженно толкая друг друга.

В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая, по светло-коричневой пыли дороги. Медленно, медленно нарастала лавина — мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки. А речь людей — частиц могучего потока — звучала, как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, рокошущая, неотвратимая. В этом медленном темном потоке, рассекшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки, слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стенные часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки; беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек, тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась, а люди на террасе скобяной лавки сидели подобно ошетилившимся псам и не знали, что предпринять: чинить плотину было поздно.

Сэмюэль Тис все еще не мог поверить.

— Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают *попасть* на Марс?

— Ракеты,— сказал дед Квортэрмэйн.

— У этих болванов и остопопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?

— Скопили денег и построили.

— Первый раз слышу.

— Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где — не знаю. Может, в Африке.

— Как же так? — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде.— А законы на что?

— Они как будто войны никому не объявляли,— мирно ответил дед.

— Откуда же они полетят, черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами? — крикнул Тис.

— По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс.

— Надо звонить губернатору, вызвать полицию! — бесновался Тис.— Они обязаны были предупредить заранее!

— Твоя благоверная идет, Тис.

Мужчины повернулись.

По раскаленной улице, в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломленные лица, и все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки. Заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, шурясь на своего разгневанного, надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.

— Отец, пошли домой, я никак не могу уломать Люсинду!

— Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни!?

— Она уходит. Что я буду делать без нее?

— Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду.

— Но она все равно что член семьи,— причитала миссис Тис.

— Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкала из-за всякой...

Всклипывания жены остановили его. Она утирала глаза.

— Я ей говорю: «Люсинда, останься,— говорю,— я прибавлю тебе жалованье, будешь свободна два вечера в неделю, если хочешь»,— а она словно каменная! Никогда ее такой не видела. «Неужто ты меня не любишь,— говорю,— Люсинда?» «Люблю,— говорит,— и все равно должна уйти, так уж получилось». Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и... и пошла. Дошла до дверей, а там уже два узла приготовлены. Стала, у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверно; совсем остыл, как я уходила...

Тис едва не ударил ее.

— К черту, слышишь, марш домой! Нашла место представление устраивать!

— Но, отец...

Сэмюэль исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова, с серебряным пистолетом в руке.

Его жены уже не было.

Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости; ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение.

Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла.

— Клянусь богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу.

Мужчины ждали.

Река мирно катила мимо сквозь дремотный полдень.

— Что, Сэм,— усмехнулся дед Квортэрмэйн,— видать, придется тебе самому черную работу делать.

— Я и по белому не промахнусь.— Тис не глядел на деда.

Дед отвернулся и замолчал.

— Эй, ты, постой-ка! — Сэмюэль Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под уздцы лошадь, на которой сидел высокий негр.— Все, Белтер, слезай, приехали!

— Да, сэр.— Белтер соскользнул на землю.

Тис смерил его взглядом.

— Ну, как же это называется?

— Понимаете, мистер Тис...

— В путь собрался, да? Как в той песне... сейчас вспомню... «Высоко в небеса» — так, что ли?

— Да, сэр.

Негр ждал, что последует дальше.

— А ты не забыл, Белтер, что должен мне пятьдесят долларов?

— Нет, сэр.

— И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?

— Сэр, тут такой переполох, я совсем запмятовал.

— Он запмятовал...— Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде.— Черт возьми, мистер, ты знаешь, что ты будешь делать?

— Нет, сэр.

— Ты останешься здесь и отработаешь мне эти пятьдесят зелененьких, не будь я Сэмюэль В. Тис.

Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом.

Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу, на черный поток, неудержимо струящийся между лавками, черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках, черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал.

— Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово!

— Послушай-ка, Белтер.— Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы, посмотрел на небо и, небрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого господь-бога.— А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?

— Знаю то, что мне рассказывали.

— Ему рассказывали! Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали! — Он, небрежно так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо.— Помяни мое слово, Белтер, вы взлетите вверх, как шутиха в день четвертого июля, и — бам! Готово, один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу. Эти болваны-ученые не смыслят ни черта, они вас всех укокошат!

— Мне все равно.

— И очень хорошо! Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовища кровожадные, глазища — во! Как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее, в закусочной у нас продают по десяти центов штука? Ну так вот, как налетят они на вас — весь мозг из костей высосут!

— Мне, все равно, все равно, все равно.— Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот.казалось, он вот-вот потеряет сознание.

— А холодина там! И воздуха нет, упадешь там и задрываешься как рыба. Разинешь пасть и помрешь. Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это — по душе тебе?

— Мало ли что мне не по душе, сэр... Пожалуйста, сэр, отпустите меня. Я опоздаю.

— Отпущу, *когда* захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти, и ты это отлично знаешь. Значит, путешествовать собрался? Ну, так вот что, мистер «Высоко в небеса», возвращайся домой, черт дери, и отрабатывай пятьдесят зелененьких! Срок тебе — два месяца.

— Но, сэр, если я останусь отрабатывать, я опоздаю на ракету!

— Ах, горе-то какое! — Тис попытался изобразить печаль.

— Возьмите мою лошадь, сэр.

— Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег.

Тис ликовал. Настроение у него было чудесное.

У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурил голову.

Вдруг от толпы отделился старик.

— Мистер?

Тис глянул на него.

— Ну?

— Сколько должен вам этот человек, мистер?

— Не твое собачье дело!

Старик повернулся к Белтеру.

— Сколько, сынок?

— Пятьдесят долларов.

Старик протянул черные руки к окружающим его людям.

— Нас двадцать пять. Каждый дает по два доллара, и быстрее, сейчас не время спорить.

— Это еще что такое? — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.

Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру.

— Сынок, — сказал он, — ты не опоздаешь на ракету.

Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся.

— Не опоздаю, сэр, теперь не опоздаю!

Тис заорал:

— Сейчас же верни им деньги!

Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг, но Тис не взял денег; тогда негр положил их на пыльную землю у его ног.

— Вот ваши деньги, — сэр, — сказал он. — Большое спасибо.

Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика: они ехали рядом и вместе скрылись из виду.

— Сукин сын! — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. — Сукин сын...

— Подними деньги, Сэмюэль, — сказал кто-то с веранды.

То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили:

— У кого есть, помогают тем, у кого нет! И все получают свободу! Один богач дал бедняку двести зелененьких, чтобы тот рассчитался! Еще один дал другому десять зелененьких, пять, шестнадцать — и так повсюду, все так делают!

Белые сидели с кислыми минами. Они шурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль.

Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его рас-

пирало, злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него.

— Бам! Еще ракета взлетела! — вопил он во всю глотку. — Бам! Боже мой!

Черные головы смотрели вперед, никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся.

— Тр-р-рах! Все ракеты вдребезги! Крики, ужас, смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что, я остаюсь здесь, на матушке-земле. Старушка не подведет! Ха-ха!

Постукивали копыта, взбивая пыль. Дребезжали фургоны на разбитых рессорах.

— Бам! — Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо. — Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеором по ракете и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоров! А вы не знали? Точно! Как картечь, даже гуще! И посыплется ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки! Ржавые банки, набитые черной треской! Пошли хлопать, как хлопущи: бам! бам! бам! Десять тысяч убитых, еще десять тысяч. Летают вокруг Земли в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко, владыка небесный! Слышите, эй, вы там! Слышите?!

Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гардинные карнизы, несет куда-то в далекое черное море.

Два часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль мягким ковром легла на строения, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья.

Тишина.

Мужчины на веранде прислушались.

Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. Спозаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку, тут и там пели голоса; под мимозами смеялись влюбленные; где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье; на полях мелькали спины и руки; из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы.

Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели плоские камни на берегу — излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко созревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах; сквозз дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня.

Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде скобяной лавки.

— Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас. Вроде, все шло на лад. Что ни день, новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили, один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать, кругом равноправие! Мало им этого? Зарабатывают почти что не хуже любого белого — и вот тебе

на, сорвались с места.

В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.

— Разрази меня гром, Тис, это твой Силли едет.

Велосипед остановился возле крыльца, на нем сидел цветной, парнишка лет семнадцати, угловатый, нескладный — длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся.

— Что, совесть заговорила, вернулся, — сказал Тис.

— Нет, хозяин, я просто привез велосипед.

— Это почему же — в ракету не влезит?

— Да нет, хозяин, не в том дело...

— Можешь не объяснять в чем дело! Слазь, я не позволю тебе красть мое имущество! — Он толкнул парня. Велосипед упал. — Пошел в лавку, медяшки чистить.

— Что вы сказали, хозяин? — Глаза парня расширились.

— То, что слышал! Надо ружья распаковать и ящик вскрыть — гвозди пришли из Натчеца...

— Мистер Тис...

— Наладить ларь для молотков...

— Мистер Тис, хозяин!

— Ты еще стоишь здесь?! — Тис свирепо сверкнул глазами.

— Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной? — спросил парень извиняющимся голосом.

— И завтра тоже, и послезавтра, и после-послезавтра? — сказал Тис.

— Боюсь, что так, хозяин.

— Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда. — Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу. — Помнишь эту штуку?

— Что это, хозяин?

— Твой трудовой контракт. Ты подписал его, вот твой крестик, видишь? Отвечай.

— Я не подписывал, мистер Тис. — Парень весь трясся. — Кто угодно может поставить крестик.

— Слушай, Силли. Контракт: «Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса два года, начиная с 15 июля 2001 года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за четыре недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена». Вот, — Тис стукнул ладонью по бумаге, его глаза блестели. — А будешь артачиться, пойдем в суд.

— Я не могу! — вскричал парень; по его щекам покатились слезы. — Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда.

— Я отлично тебя понимаю, Силли, да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень, хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу, и выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли. — Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу.

Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застлали ему глаза.

— Может... может, кто из этих джентльменов...

Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса.

— Это как же понимать: ты хочешь, чтобы твое место занял белый? — холодно спросил Тис.

Дед Квортэрмэйн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел в даль и сказал:

— Слышь, Тис, а как насчет меня?

— Что?

— Я берусь работать вместо Силли.

Остальные притихли.

Тис покачивался на носках.

— Дед... — произнес он предостерегающе.

— Отпусти парня, я почищу, что надо.

— Вы... в самом деле, взаправду? — Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.

— Конечно.

— Дед, — сказал Тис, — не суй свой паршивый нос в это дело.

— Не держи мальчика, Тис.

Тис подошел к Силли и схватил его за руку.

— Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи.

— Не надо, мистер Тис!

Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький, дребезжащий «форд», увозивший последних цветных.

— Это мои, мистер Тис. О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!

— Тис, — сказал один из мужчин, вставая, — пусть уходит.

Второй поднялся.

— Я тоже за это.

— И я, — вступил третий.

— К чему это? — Теперь заговорили все. — Кончай, Тис.

— Отпусти его.

Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:

— Вот, значит, как?

— Да, вот так, — отозвался кто-то.

Тис отпустил парня.

— Ладно. Катись. — Он ткнул рукой в сторону лавки. — Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?

— Нет, хозяин!

— Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!

Силли покачал головой.

— Я возьму с собой.

— Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!

— Я возьму с собой, — мягко настаивал парнишка.

Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал «форд»; Силли сел в машину, хлопнула дверца.

Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.

— И что же ты собираешься делать там?

— Открою свое дело, — ответил Силли. — Хочу завести скобяную лавку.

— Ах ты дрянь, так вот ты зачем ко мне нанимался, задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку!

— Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно случилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?

— Вы небось придумали имена вашим ракетам?

Цветные смотрели на свои единственные часы — на приборной доске «форда».

— Да, хозяин.

— Небось «Илия» и «Колесница», «Большое колесо» и «Малое колесо», «Вера», «Надежда», «Милосердие»?

— Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис.

— «Бог-сын» и «Святой дух», да? Скажи, малый, а одну ракету называли в честь баптистской церкви?

— Нам пора ехать, мистер Тис.

Тис хохотал.

— Неужели ни одну не называли «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?

Машина тронулась.

— Прощайте, мистер Тис.

— А есть у вас ракета «Рассыпьте, мои косточки»?

— Прощайте, мистер!

— А «Через Иордань»? Ха! Ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете, давай, лети, пусть взрывается, я плакать не буду!

Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису:

— Мистер Тис, мистер Тис, а что вы теперь будете делать *по ночам*? Что будете делать *ночью*, хозяин?

Тишина. Машина растаяла вдали. Дорога опустела.

— Что он хотел сказать, черт возьми? — недоумевал Тис. — Что я буду делать *по ночам*?..

Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло.

Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них — темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев. И злые глаза... Гудок, еще гудок, он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя, и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы — встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие воли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева, и стук в дверь лачуги!

— Так вот он про что, сукин сын! — Тис выскочил из тени на дорогу. — Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами?! Ах ты гад, подлюга...

Вопрос Силли попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным «В самом деле. Что мы будем делать *по ночам*? — думал он. — Теперь, когда все уехали...» На душе было пусто, мысли оцепенели.

Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны.

— Ты что это задумал, Сэм? — спросил кто-то.

— Убью эту сволочь.

— Не распаляйся так, — сказал дед.

Но Сэмюэль Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине.

— Кто со мной?

— Я прокачусь, пожалуй, — отозвался дед, вставая.

— Еще кто?

Молчание.

Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэль Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марево.



Развилок. Стоп.

— Куда они поехали, дед?

Дед Квортэрмэйн прищурился.

— Прямо, сдается мне.

Они продолжали путь. Одиноко ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста, но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.

— Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?

— Что? — спросил дед, присматриваясь.

Вдоль дороги непрерывной цепочкой, аккуратными кучками лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как, наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом вдоль пыльных обочин, словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись напрямиком на голубые небеса.

— «Не хотим жечь», как же! — злобно крикнул Тис. — Я им говорю сожгите, так нет, тащили всю дорогу и сложили здесь — напоследок еще раз посмотреть на свое барахло, вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазые невесть что о себе воображают.

Он гнал машину дальше, километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.

— Так! Черт дери... Еще! Так!

Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву, Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.

— А, сукины дети! — Сэмюэль Тис стряхнул с себя пыль и вышел из машины, чуть не плача от ярости.

Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу.

— Теперь мы уж их никогда не догоним, никогда.

Насколько хватал глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни, под жарким ветром, в свете угасающего дня.

Час спустя Тис и дед, усталые, подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул:

— Смотрите!

— К черту! — прорычал Тис.

Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие в высь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли.

На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце.

Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие

гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненные стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку. Кто-то начертил в пыли человечка.

Сэмюэль Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал:

— А вы заметили? Он до самого конца говорил мне «хозяин», ей-богу!

## 2004—2005

### *Новые имена*

Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк...

Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудями обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ-СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРНТАУН, ГРЭИН-ВИЛЛА, ДЕТРОИТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.

А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригород, Отдохни Малость — и первые покойники легли в свои могилы..

Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться — «подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая вьедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.

И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться...

«Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера...»

Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она перед ним, на невысоком черном пригорке — Усадьба, и на угловом камне начертано: 2005 год.

Мистер Бигелоу, архитектор, сказал:

— Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль.

Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной как вороново крыло траве у их ног шуршали чертежи.

— Дом Эшеров, — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. — Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге!

Мистер Бигелоу прищурился.

— Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?

— Да!

— Колорит такой, какой нужен? Картина *тоскливая и ужасная*?

— *Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая!*

— Стены — *угрюмые*?

— Поразительно!

— Пруд достаточно «черный и мрачный»?

— Невообразимо черный и мрачный.

— А осока — она окрашена, как вам известно, — в меру чахлая и седая?

— До отвращения!

Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:

— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..

— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!

— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перелететь сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. «Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».

Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, признаки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди, угадай.

Он взглянул на осеннее небо. Где-то сверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где-то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то сверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивили-

лизовать прекрасную, безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.

— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?

— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?

— Нет.

— Название «Эшер» вам ничего не говорит?

— Ничего.

— Ну, а *такое* имя: Эдгар Аллан По?

Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.

— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в 1975.

— А, — понимающе кивнул мистер Бигелоу. — Один из *этих*!

— Вот именно, Бигелоу, один из *этих*. Его и Лавкрафта, Хоторна и Амброза Бирса, все повести об ужасах и страхах, все фантазии, да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки, еще в пятидесятых и шестидесятых годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предрассудки, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.

— Понятно.

— Устрашаемые словом «политика» (которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом «коммунизма», да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью!), понукаемые со всех сторон — здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут, — искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку «чистого» материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных!

— Неужели?

— Да-да! Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное! Все, что не попадало в эту категорию, — прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии — бей в лет. И вот воскресным утром, тридцать лет назад, в 1975 году их поставили к библиотечной стенке: Санта-Клауса и Всадника без головы, Белоснежку, и Домового, и Матушку-Гусыню — все в голос рыдали! — и расстреляли их, потом сожгли бумажные замки и царевен-лягушек, старых королей и всех, кто «с тех пор зажил счастливо» (в самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо!), и Некогда превратилось в Никогда! И они развеяли по ветру прах Заколдованного Рикши вместе с черепками Страны Оз, изрубили Глинду Добрую и Озму, разложили Многоцветку в спектрокопе, а Джека Тыквенную Голову подали к столу на Балу Биологов! Гороховый Стручок зачас в бюрократических зарослях! Спящая Красавица была разбужена

поделуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от чего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать: «Чем дальше, тем любопытственнее!» Волшебное Зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все Красные Короли и Устрицы!

Он сжал кулаки. Господи, как все это близко, точно случилось вот сейчас! Лицо его побагровело, он задыхался.

Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и наконец сказал:

— Извините. Не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, Костер был только на пользу.

— Вон отсюда! — вскричал Стендаль. — Ваша работа завершена, теперь убирайтесь, болван!

Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел.

Мистер Стендаль остался один перед Домом.

— Слушайте, вы! — обратился он к незримым ракетам. — Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, Чистые Души, а вас, что ни день, все больше и больше здесь, вы слетаетесь, словно мухи на падаль. Так я вам тут кое-что покажу. Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистром По. Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность! Он погрозил небу кулаком.

Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на Дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина.

— Ваша фамилия Стендаль?

— Да.

— Гаррет, инспектор из управления Нравственного Климата.

— Ага, вы-таки добрались до Марса, блюстители Нравственного Климата? Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь.....

— Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле. — Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону Дома. — Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?

— Это замок с привидениями, если вам угодно.

— Не угодно, Стендаль, никак не угодно. «С привидениями» — не годится.

— Очень просто. В нынешнем, две тысячи пятом году господа бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лучей, латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности.

— Именно этого я опасался, — сказал Гаррет с улыбкой. — Боюсь, придется снести ваш домик.

— Я знал, что вы явитесь, едва проведаете.

— Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и Огневая Команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сгруппировали. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это миллиона три стало.....

— Четыре миллиона! Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство,— двадцать пять миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно: только закончил строительство, как вы уже здесь со своими Демонтажниками. Может, позвольте мне потешиться моей Игрушкой, ну, хотя бы двадцать четыре часа?

— Вам известен Закон. Как положено: никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии.

— Вы скоро начнете жесть мистеров Бэббитов!

— Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. Двадцать лет назад. На Земле. Вы и ваша библиотека.

— О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда, забыты Оз и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки — у меня и еще у нескольких частных лиц,— пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. Изорвали в клочья мои пятьдесят тысяч книг и сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами; и вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел «По ком звонит колокол»! Тридцать различных постановок. Все реалистичные. О, реализм! Ох, уж этот реализм! Чтоб его!..

— Рекомендовал бы воздержаться от сарказма!

— Мистер Гаррет, вы ведь обязаны представить полный отчет?

— Да.

— В таком случае, любопытства ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.

— Хорошо. Показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет.

Дверь Дома Эшеров со скрипом распахнулась. Поваяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны, точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи.

По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувырнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох.

— Поразительно! — Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть.

В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гаррета, постукивая пальцем по засаленным картам.

— Смерть! — крикнула она.

— Вот именно *такие* вещи я и подразумевал...— сказал Гаррет.— Весьма предосудительно!

— Я разрешу вам лично сжечь ее.

— В самом деле? — Гаррет просиял. Но тут же нахмурился.— Вы так легко об этом говорите.

— Для меня достаточно было устроить все это. Чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу.

— Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением.

Гаррет смотрел — мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как

сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла.

Невесть откуда возникла обезьяна.

— Брысь! — крикнул Гаррет.

— Не бойтесь.— Стендаль похлопал животное по черной груди.— Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот!

Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус.

— Вижу.— Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота.— Но к чему это, мистер Стендаль, в чем смысл всего *этого*? Что вас довело?...

— Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно.— Он кивнул обезьяне.— Пора. *Давай*. Обезьяна убила мистера Гаррета.

— Почти готово, Пайкс?

Пайкс оторвал взгляд от стола.

— Да, сэр.

— Отличная работа.

— Даром хлеб не едим, мистер Стендаль,— тихо ответил Пайкс; приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы.— Так...

— Вылитый мистер Гаррет.

— А с ним что делать, сэр? — Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гаррет.

— Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гаррета, верно?

Пайкс подтащил Гаррета к кирпичному мусоросжигателю.

— Всего хорошего.

Он втолкнул мистера Гаррета внутрь и захлопнул дверку.

Стендаль обратился к роботу Гаррету.

— Вам ясно ваше задание, Гаррет?

— Да, сэр.— Робот приподнялся и сел.— Я должен вернуться в управление Нравственного Климата. Представить дополнительный доклад. Оттянуть операцию самое малое на сорок восемь часов. Сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование.

— Правильно, Гаррет. Желаю успеха.

Робот поспешно прошел к ракете Гаррета, поднялся в нее и улетел.

Стендаль повернулся.

— Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело. Как вы думаете?

— Учитывая, что мы ждали двадцать лет,— даже очень весело!

Они подмигнули друг другу.

Ровно семь. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.

— За наш успех.

Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж ответит он душу на старости лет... Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть... И в оцепенелой душе исподволь, медленно зрел замысел. Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса.

Именно, Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодез, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего! Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище, вот кто Пайкс! «Лучше, чем Лон Чени, патриарх?» — спросил себя Стендаль. Чени, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел... Да, лучше чем Чени. Лучше того, другого старинного актера — как его, Карлофф, кажется? Гораздо лучше! А Люгоси? Никакого сравнения! Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же: его ограбили, отняли право на выдумку, и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя!

Бедняга Пайкс — невероятный, обезоруженный Пайкс! Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы, вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры из твоего чрева, хватали, комкали, бросали в печь, сжигали! Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен, пятьдесят тысяч книг? Да. Да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды — что может быть естественнее — они встретились и заговорили, и разговоры их растянулись на бесчетные ночи, как не было счета и чашкам кофе, и из потока слов и горького настоя родилась — Дом Эшера.

Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей.

Улыбаясь, он пошел встретить их.

Роботы ждали — взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные, с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для не живых и не мертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы — обоего пола, но бесполое. С лицами, но безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь... Но вот громко взвизгнули гвозди. Одна за другой поднимаются крышки. По ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный в ход. Еще один, еще, и вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидлди, Телячья Голова, Соня, бледные утопленники — соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создания из льда и сверкающей мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, Тик-так, Страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, Синяя Борода — бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки. Поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого эмеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь: вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот... Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на Дом Эшера. Ночь колдовства началась.



На усадьбу повесело теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей.

Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах, за ними следовали женщины с замысловатыми прическами.

— Вот он *какой*, Эшер!

— А где же дверь?

И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,  
Спусти свои косоньки вниз.

Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развеваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в Дом.

Самые видные социологи! Самые проникательные психологи! Самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи! Вот они все тут, между серых стен.

— Добро пожаловать!

Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей.

— Входите, входите!

Мисс Гиббс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драммонд и еще два десятка блестящих женщин.

Все без исключения видные, виднейшие лица, члены Общества Борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников — «всех святых» и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики; все без исключения добропорядочные незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, поглубже первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась Безопасность, эти Душители Радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой Нравственный Климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья! Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.

— Добро пожаловать в безбрежные покои Смерти! — крикнул он.

— Послушайте, Стендаль, что все это *значит*?

— Увидите. Всем раздеться! Вон там есть кабины. Наденьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины — в эту сторону, женщины — в ту.

Гости стояли в некотором замешательстве. — Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь. Это... это похоже на кошунство.

— Чепуха, *костюмированный* бал!

— Боюсь, это все противозаконно. — Мистер Стеффенс настоятельно шмыгал носом.

— Полно! — рассмеялся Стендаль. — Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!

Дом сверкал жизнью и красками, шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадрили под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепета-

ли под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулий, извергавших холодное, хмельное, пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес! Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах. Мужчины увивались за ними. По стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.

— Да мы все упыри! — рассмеялся мистер Флетчер. — Мертвецы!

Семь залов, каждый иного цвета: один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал, между фантастическими роботами, между Сонями и Сумасшедшими Шляпниками, Троллями и Великанами, Черными Котами и Белыми Королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.

— Мистер Стендаль!

Шепотом...

— Мистер Стендаль!

Рядом с ним стояло чудовище в маске Смерти. Это был Пайкс.

— Нам нужно поговорить наедине.

— В чем дело?

— Вот. — Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты, болты.

Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.

— Гаррет? — спросил он шепотом.

Пайкс кивнул.

— Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель.

Оба глядели на злоеющие винты.

— Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, — сказал Пайкс. — Наши планы рухнут.

— Это еще неизвестно. — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. — Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка!

— Что случилось?

— Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены.

— Конечно!

— Следующий раз он явится *сам*. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуту на минуту, *собственной* персоной! Еще вина, Пайкс!

Зазвонил большой колокол.

— Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета.

Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.

— Мистер Стендаль?

— Мистер Гаррет, *подлинный* Гаррет?

— Он самый. — Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей. — Решил, лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более, на чужих роботов. Заодно я предусмот-

рительно вызвал Демонтажников. Через час они придут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова.

Стендаль поклонился.

— Спасибо за предупреждение. — Он сделал жест рукой. — А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?

— Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?

— Убедитесь сами, мистер Гаррет.

— Разврат, — сказал Гаррет.

— Самый гнусный, — подтвердил Стендаль.

Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная, как сыр.

— Что сейчас случилось, какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и ватолкала ее в дымоход!

Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.

— Ужасно! — причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась. Захлопала глазами и повернулась: — Мисс Блант!

— Да. — Мисс Блант стояла рядом с ней. — Но я только что видела вас в каминной трубе!

— Нет, — рассмеялась мисс Блант. — Это был робот, моя копия. Искусная репродукция!

— Но, но...

— Утрите слезы, милочка. Я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя. Так вот где я! Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?

Мисс Блант удалилась смеясь.

— Хотите выпить, Гаррет?

— Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место. Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне... — Гаррет выпил вина.

Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стеффенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стеффенса утащили в яму и оставили там, связанного по рукам и ногам, глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалось, качаясь, острое как бритва лезвие огромного маятника.

— Это я там внизу? — спросил мистер Стеффенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодезем. — Очень, очень странно наблюдать собственную гибель.

Маятник качнулся в последний раз.

— До чего реалистично, — сказал мистер Стеффенс, отворачиваясь.

— Еще вина, мистер Гаррет?

— Да, пожалуйста.

— Теперь уже недолго. Скоро придут Демонтажники.

— Слава богу!

И опять, в третий раз — крик.

— Ну что еще? — нервно спросил Гаррет. — Теперь моя очередь, — сказала мисс Драммонд. — Глядите.

Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом.

— Постоите, я же помню *это*! — ахнул инспектор Нравственного Климата. — Это же из старых, запрещенных книг... «Преждевременное погребение». Да и остальное: колодезь, маятник, обезьяна, дымоход... «Убийство на улице Морг». Я сам сжег эту книгу, ну конечно же!

— Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче.

— Господи, *какое* у вас воображение!

На их глазах погибли еще пятеро: один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.

— Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас? — спросил Стендаль.

— Разумеется, — ответил Гаррет. — Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны.

— Тогда пошли. Сюда.

И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы.

— Что вы хотите мне здесь показать? — спросил Гаррет.

— Вас, убитого.

— Моего двойника?

— Да. И еще кое-что.

— Что же?

— Амонтильядо, — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем.

Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.

— Что-что?

— Вы никогда не слыхали про амонтильядо?

— Нет!

— И не узнаете вот это? — Стендаль указал на нишу.

— Откуда мне знать?

— Это тоже? — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.

— Что это такое?

— Пошли, — сказал Стендаль.

Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.

— Боже мой, что вы делаете? — вскричал Гаррет, гремя цепями.

— Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо, это неучтиво. Вот так!

— Вы заковали меня в цепи!

— Совершенно верно.

— Что вы собираетесь сделать?

— Оставить вас здесь.

— Вы шутите.

— Весьма удачная шутка.

— Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?

— Никакого двойника нет.

— Но как же *остальные*?!

— Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники, роботы, стояли рядом и смотрели.

Гаррет молчал.

— Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого, Монтрезор!» — сказал Стендаль. — А я отвечу: «Да, ради всего святого». Ну, что же вы? Давайте *Говорите*.

— Болван!

— Что, я вас упрашивать должен? Говорите. Говорите: «Ради всего святого, Монтрезор!»

— Не скажу, идиот. Выпустите меня отсюда. — Он уже протрезвел.

— Вот. Наденьте.— Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.

— Что это?

— Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас.

— Стендаль!

— Надевайте, говорят вам!

Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.

— У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило? — справился Стендаль, берясь за лопатку, раствор, кирпичи.

— Что вы делаете?

— Замуровываю вас. Один ряд выложен. А вот и второй.

— Вы сошли с ума!

— Не стану спорить.

— Вас привлекут к ответственности за это!

Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор.

Из тонущей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики. Стена росла.

— Лязгайте как следует, прошу вас,— сказал Стендаль.— Чтобы было сыграно на славу!

— Выпустите, выпустите меня!

Осталось уложить один, последний кирпич. Вопли не прекращались.

— Гаррет? — тихо позвал Стендаль.

Гаррет смолк.

— Гаррет,— продолжал Стендаль,— знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет.

Гаррет молчал.

— Все должно быть в точности,— сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру.— Позвоните тихонько бубенчиками.

Бубенчики звякнули.

— А теперь, если вы изволите сказать: «Ради всего святого, Монтрезор!», я, возможно, освобожу вас.

В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова:

— Ради всего святого, Монтрезор.

Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза. Вложил последний кирпич и плотно заделал его.

— Requiescat in pace, дорогой друг.

Он быстро покинул катакомбы.

В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло.

Появилась Красная Смерть.

Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел. Выбежал из Дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.

— Готово, Пайкс?

— Готово.

Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения, и, любясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует:

— «...на моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшерова».

Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.

Август 2005

*Старые люди*

И наконец — как и следовало ожидать — на Марс стали прибывать старые люди; они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы.

Люди немощные и дряхлые, люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами, люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третью-классном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки тоже наконец появились на Марсе...

Сентябрь 2005

*Марсианин*

Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя, дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.

— Первый дождь сезона, — заметил Лафарж.

— Чудесно... — вздохнула жена.

— Благодарить!

Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.

— Вот одно только... — произнес Лафарж, глядя на свои руки.

— Ты о чем? — спросила жена.

— Если бы мы могли взять с собой Тома...

— Лаф, ты опять!

— Нет, нет, прости меня, я не буду.

— Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на Земле.

— Верно, верно, — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. — Я больше не заговорю об этом. Просто, ну... очень уж недостает мне наших поездок в Грин-Лон-Парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали...

Голубой дождь ласковыми струями поливал дом.

В девять часов они легли спать; молча, рука в руке, лежали они, ему — пятьдесят пять, ей — шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя.

- Энн, — тихо позвал он.  
— Да? — откликнулась она.  
— Ты ничего не слышала?

Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя.

- Ничего, — сказала она.  
— Кто-то свистел, — объяснил он.  
— Нет, я не слышала.  
— Пойду посмотрю на всякий случай.

Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер.

У крыльца стояла маленькая фигура.

Молния распоролла небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.

— Кто там? — крикнул старик, дрожа.

Молчание.

— Кто это? Что вам надо?

По-прежнему ни слова.

Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.

— Кто ты такой? — крикнул Лафарж снова.

Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку.

— Чего ты так кричишь?

— Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать. — сказал старик, дрожа. — Он похож на Тома!

— Пойдем спать, тебе почудилось.

— Он и сейчас стоит, взгляни сама.

Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь — и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.

— Уходи! — сказала она, отмахиваясь рукой. — Уходи!

— Скажешь, не похож на Тома? — спросил старик.

Фигурка не двигалась.

— Мне страшно, — произнесла женщина. — Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!..

И она ушла в спальню, причитая себе под нос.

Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студенной влаги.

— Том, — тихо сказал он. — Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, — я не стану запира́ть дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик.

И он прикрыл дверь, не заперев ее.

Жена слышала, как он ложится, и зябко поежилась.

— Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой. — Она всхлипнула.

— Ладно, ладно, — ласково успокаивал он ее, обнимая. — Спи.

Наконец она уснула.

И тут его настороженный слух тотчас уловил: наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж слышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», — сказал он сам себе.

Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

Утром светило жаркое-жаркое солнце.

Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом.

На коврике никого не было.

Лафарж вздохнул.

— Стар становлюсь, — сказал он.

И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.

— Доброе утро, отец!

— Доброе утро, Том.

Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.

— Чудесный день сегодня!

— Да, хороший, — настороженно отозвался старик.

Мальчик держался как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой.

Старик шагнул вперед.

— Том, как ты сюда попал? Ты жив?

— А почему мне не быть живым? — Мальчик поднял глаза на отца.

— Но, Том... Грин-Лон-Парк, каждое воскресенье... цветы... и... — Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы — крепкие, теплые.

— Ты в самом деле здесь, это не сон?

— Разве вы не хотите, чтобы я был здесь? — Мальчик встревожился.

— Что ты, Том, конечно, хотим!

— Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут.

— Но твоя мать, такая неожиданность...

— Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам.

И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.

— Доброе утро, Лаф и Том. — Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок. — Правда, чудесный день?

Том повернулся к отцу, улыбаясь:

— Что я говорил?

Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнечного вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством.

Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:

— Сколько же тебе лет теперь, сынок?

— Разве ты не знаешь, папа? Четырнадцать, конечно.

— А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть! Кто ты?

— Не надо. — Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.

— Мне ты можешь сказать, — настаивал старик, — я пойму. Ты марсианин, наверно? Я тут слышал разные басни про марсиан, правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться: будто бы и Том, и не Том...



— Зачем, зачем это?! Чем я вам не хорош? — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. — Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!

Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.

— Том, вернись!

Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.

— Куда это он? — спросила Энн; она пришла за остальными тарелками.

Она посмотрела в лицо мужу.

— Ты что-нибудь сказал, напугал его?

— Энн, — заговорил он, беря ее за руку, — Энн, ты помнишь Грин-Лон-Парк, помнишь ярмарку, и как Том заболел воспалением легких?

— Что ты такое говоришь? — Она рассмеялась.

— Так ничего, — тихо ответил он.

Вдали, у канала, медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома.

В пять часов вечера, на закате, Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца.

— Ты опять начнешь меня расспрашивать? —

— Никаких вопросов, — сказал Лафарж.

Блеснула белозубая улыбка.

— Вот это здорово.

— Где ты был?

— Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... — Он замаялся, подбирая нужное слово. — Я чуть не попал в западню.

— Что ты хочешь этим сказать — «в западню»?

— Там, возле канала есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... после этого я не смог бы вернуться сюда, к вам. Не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказать, я и сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить.

— И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.

Мальчик побежал умываться.

А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.

— Добрый вечер, брат Лафарж, — сказал он, придерживая лодку.

— Добрый вечер, Саул, что слышно?

— Всякое. Ты ведь знаешь Номленда — того, что живет в жестяном сарайчике на канале?

Лафарж оцепенел.

— Знаю, ну и что?

— А какой он негодяй был, тоже знаешь?

— Говорили, будто он потому Землю покинул, что человека убил.

Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.

— А помнишь фамилию человека, которого он убил?

— Гиллингс, кажется?

— Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа этак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса — живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что! Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел

домой и двадцать минут назад — люди мне рассказали — пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда.

— Ну и ну,— сказал Лафарж.

— Вот какие дела-то бывают! — подхватил Саул.— Ладно, Лафарж, пока, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.

— Ужин на столе,— крикнула миссис Лафарж.

Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.

— Том,— сказал он,— ты что делал сегодня вечером?

— Ничего,— ответил Том с полным ртом.— А что?

— Да нет, я так просто.— Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город.

— Уж который месяц не была там,— сказала она.

Том откасался идти.

— Я боюсь города,— объявил он.— Боюсь людей. Мне не хочется.

— Большой парень — и такие разговоры! — настаивала Энн.— Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила.

— Но, Энн, если мальчику не хочется...— вступился старик.

Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это,— думал он,— что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он — пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести наконец свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри — он Том, и все тут.

Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя... Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали, пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи — еще темней, дождливые ночи — еще сырей... Лишать нас этого — все равно что попытаться вырвать у нас кусок из рта...»

И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул; верно, что-то приснилось.

— Люди,— бормотал Том во сне.— Меняюсь и меняюсь... Капкан...

— Полно, полно, парень.— Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.

Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег.

— Ну, вот и приехали! — Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.

— Лучше бы я остался дома, — сказал Том.

— Прежде ты так не говорил, — возразила мать. — Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город.

— Держитесь ко мне поближе, — прошептал Том. — Я не хочу, чтоб меня поймали.

Энн услышала эти слова.

— Что ты там болтаешь, пошли!

Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.

— Я с тобой, Томми. — Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. — Мы не будем задерживаться долго.

— Вздор, — вмешалась Энн. — Мы на весь вечер приехали.

Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга; оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было.

— Где он? — сердито спросила Энн. — Что за манера — чуть что, куда-то удирать от родителей! Том!!

Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.

— Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой, — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое — мужчина и женщина. Он узнал их: Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними.

Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.

В одиннадцать часов Тома у причала не было.

— Ничего, мать, — сказал Лафарж, — ты только не волнуйся. Я найду его. Подожди здесь.

— Поскорее возвращайтесь.

Ее голос утонул в плеске воды.

Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высывались люди — ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость, — устало подумал старик. — Наверно, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было...» Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

— Это ты, Лафарж?

На крыльце, куря трубку, сидел мужчина.

— Привет, Майк.

— Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?

— Да нет, просто гуляю.

— У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?

— Помню, — Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.

— Лавиния вернулась домой сегодня вечером, — сказал Майк, выпуская дым. — Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне мертвого

моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было... С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась.

— Где? — Лафаржу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось.

— На Главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю! Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.

— И ты ее видел?

— Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный берег Ломондского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом. Так она пела — заслушаешься! Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, — вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э, да тебе вроде нездоровится. Зайди-ка, глотни виски!

— Спасибо, Майк, не хочу. — Старик побрел прочь.

Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар — снова смерть, — как она это перенесет? Вспомнит первую смерть?.. И весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома, ради Энн! Бедняжка Энн, она ждет его на пристани...»

Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прехорошенькая девушка лет восемнадцати.

Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер.

Девушка обернулась, глянула вниз.

— Кто там? — крикнула она.

— Это я, — сказал старик и, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекая, только губы продолжали беззвучно шевелиться.

Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец»? Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.

Девушка перегнулась через перила в холодном, неверном свете.

— Я вас знаю, — мягко ответила она. — Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать.

— Ты должен вернуться! — Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать.

Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала, только голос остался.

— Теперь я больше не твой сын, — сказал голос. — Зачем только мы поехали в город...

— Энн ждет на пристани!

— Простите меня, — ответил тихий голос. — Но что я могу поделать? Я счастлива здесь, меня любят — как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно: они взяли меня в плен.

— Но подумай об Энн, какой это будет удар для нее...

— Мысли в этом доме чересчур сильны, я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.

— Но ведь ты же Том, это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком — может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?

— Я ни то, ни другое, я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас вы не в силах изменить этого нечто.

— Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, — умолял старик.

— Верно... — Голос звучал нерешительно. — Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла — уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я, — догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее — идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор: либо причинить боль им, либо вашей жене.

— У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату!

— Прошу вас, — голос дрогнул, — я устала.

Голос старика стал тверже.

— Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам.

— Не надо, пожалуйста! — Тень на балконе трепетала.

— Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!

— О, что вы делаете со мной!

— Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну, спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет, у тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.

Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось...

Тени колыхались, шелестели лианы.

Наконец тихий голос произнес:

— Хорошо, отец.

— Том!

В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки — принять ее.

В окнах сверху вспыхнуло электричество.

Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки.

— Кто там?

— Живей, парень!

Еще свет, еще голоса.

— Стой, я буду стрелять! Винни, ты цела?

Топот спешащих ног...

Старик и мальчик пустились бежать через сад.

Раздался выстрел. Пуля ударила в стену возле самой калитки.

— Том, ты — в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через десять минут встретимся там! Давай!

Они побежали в разные стороны.

Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте.

— Энн, я здесь!

Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку.

— Где Том?

— Сейчас прибежит.

Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие: полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин

и женщин, которые смеясь, вышли из бара... Где-то приглушенно звучала музыка.

— Почему его нет? — спросила мать.

— Сейчас, сейчас.

Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили — где-то, каким-то образом — пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов? Конечно, бежать было далеко, даже для мальчика, но все-таки Том должен был успеть раньше его...

Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка.

Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать: оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и когда фигурка достигла причала, это был уже Том! Эйн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно.

Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина... еще один... женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой: ведь это... это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно! И, однако же, они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать.

Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо скидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали.

— Ни с места, Лафарж! — Сполдинг держал в руке пистолет.

Теперь было ясно, что произошло... Том один, обгоняя прохожих, мчит по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты — для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя... Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут!.. Сколько лиц угадано в лице Тома — и все ложно!

Вдоль всего пути — преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути: неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полубытого имени, воспоминания о давних временах — и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо — словно лик, отраженный десятком тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, — бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видел.

И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, — как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло.

— Выходите из лодки, ну! — скомандовал Сполдинг.

Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.

— Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю.

— Стой, — вмешался полицейский, — он арестован! Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство.

— Нет, нет! — всхлипнула женщина. — Это мой муж! Что уж я своего мужа не знаю?!

Другие голоса твердили свое. Толпа напирала.

Миссис Лафарж заслонила собой Тома.

— Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!

А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая. Том закричал.

Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, зывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться.

— Том! — звал Лафарж.

— Алиса! — звучал новый зов.

— Уильям!

Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.

Он лежал на камнях — застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая.

Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.

— Он умер, — сказал кто-то наконец.

Пошел дождь.

Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо.

Они отвернулись и сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него.

Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты.

Энн молча начала плакать.

— Поехали домой, Энн, тут уж ничего не поделаешь, — сказал старик.

Они спустились в лодку и заскользили в мрак по каналу. Они вошли в свой дом, и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.

— Тсс, — вдруг произнес Лафарж посреди ночи. — Ты ничего не слышала?

— Нет, ничего...

— Я все-таки погляжу.

Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить.

Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу.

Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор.

Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

Ноябрь 2005

### «Дорожные товары»

Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто не постижимо.

На Земле назревала война.

Он вышел и посмотрел на небо.

Вот она, Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.

— Не могу поверить, — сказал лавочник.

— Это потому что вы не там, — заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.

— Как это понять, святой отец?

— Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не верилось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.

— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там, передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?

— Повернут назад, наверно.

— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я, сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут.

— Думаете, если это та Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?

— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.

— Вряд ли.

— Пожалуй что, вы правы.



Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.

— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался...

Ноябрь 2005

## *Мертвый сезон*

Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.

— Вот и все! — сказал он. — Прошу, сэр, полюбуйте! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску. «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?

— Правда, Сэм, — подтвердила его супруга.

— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!

Жена смотрела на него и молчала.

— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец. — Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить — как его фамилия?..

— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера... На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!

Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.

Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.

— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растапой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101 Сеттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?

Жена разглядывала свои ногти.

— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.

— Не пройдет и месяца, — уверенно ответил он. — Чего ты кри-  
вишься?

— Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там, на Земле, — ответила она. — Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.

— Покупателей, — он посмаковал это слово. — Сто тысяч голодных клиентов!

— Только бы не было атомной войны, — медленно произнесла жена, глядя на небо. — Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.

Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать.

Уголкем глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:

— Сэм, тут к тебе приятель явился.

Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.

— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.

Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развевалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.

— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.

— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напущу!

— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.

— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне. Ни с того, ни с сего. Да еще по два раза на день.

— Мы не причиним вам зла.

— Зато я вам причиню! — сказал Сэм, пятась. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг, на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое.

— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.

— Если это насчет участка, так он мой. Я построил сосисочную собственными руками.

— В известном смысле да, по поводу участка.

— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.

— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?

— Мой приемник скис.

— Значит, вам ничего неизвестно. Очень важные новости. Это касается Земли.

Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.

— Позвольте показать вам вот это.

— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.

Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.

Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.

У Сэма перехватило дыхание.

Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.

— Это не оружие,— сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку.— Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?

— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам.— Ну, как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату!

— Что ты собираешься делать?

— Закопать его, что же еще?

— Не надо было убивать его.

— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!

Она молча принесла ему лопату.

К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.

— Жаль, конечно, что так получилось,— сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону.— Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.

— Да,— сказала жена.

— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.

— Какое оружие?

— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!

— Тсс,— произнесла Эльма, поднося палец к губам.— Тсс.

— А мне наплевать,— сказал он.— Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, инкорпорейтед» вступится, если что! — Он презрительно фыркнул.— Да эти марсиане и не посмеют...

— Смотри,— перебила его Эльма.

Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.

— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.

— Вот они и пришли,— сказала Эльма.

По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять-двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.

— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.

— И все-таки это, похоже, их корабли,— сказала она.

— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!

— Не осталось...— повторила она, кивая в сторону моря.

— Живо, нам надо убратъся отсюда!

— Почему? — протяжно спросила она, заворуженно глядя на марсианские корабли.

— Они убьют меня! В машину, скорей!

Эльма не двигалась с места.

Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.

— Грузовик вроде не на ходу,— заметила Эльма.

— Песчаный корабль! Садись скорей!

— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет.

— Садись! Я умею!

Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу.

Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.

— Есть!

И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрустала, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше... Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.

— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!

— Они могли задержать тебя, если бы захотели,— устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно.

Он засмеялся.

— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!

— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.

Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.

Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.

На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овеивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.

— Поверните назад,— сказала она.

— Нет.— Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висающий в воздухе, он колебался на грани между страхом и злобой. — Прочь с моего корабля!

— Это не ваш корабль,— ответило видение. — Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.

— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай считаю до трех...

— Не надо! — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром!

— Раз,— молвил Сэм.

— Сэм! — сказала Эльма.

— Выслушайте меня,— просила девушка.

— Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок.

— Сэм! — крикнула Эльма.

— Три, — сказал Сэм.

— Мы только... — начала девушка.

Пистолет выстрелил.

В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело.

Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену.

Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.

— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.

Он обратил к ней бледное лицо.

— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.

Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.

— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.

Он замотал головой, сжимая пальцами руль.

— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!

— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.

— Эльма, выслушай меня.

— Тебе нечего сказать, Сэм.

— Эльма!

Они пронесились мимо белого шахматного городка, и, одержимый бесильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.

— Я им покажу! Я всем покажу!

— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.

— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним расправлюсь!

А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми выпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами. Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.

Раз, два, три... Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.

— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!

Эльма не ответила, даже не пошевелилась.

Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного,

упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.

Но остальные корабли продолжали приближаться.

— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!

Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, vzdыбились над ним.

— Землянин, — воззвал голос откуда-то с высоты.

Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.

— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.

На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста — ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.

— Все это недоразумение, — взмолился он, привстав над бортом; жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.

Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.

— Сдаюсь.

— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.

— Что?

— Ваш пистолет. — Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука. — Возьмите его. Уберите.

Он, все еще не веря, подобрал пистолет.

— А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку.

— Сейчас же?

— Сейчас же, — сказал голос. — Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами.

Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья-паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то бил в ладони. Маски сверкали, поворачиваясь, холодным пламенем выжигали тени.

— Эльма! — Сэм неуклюже взобрался на корабль. — Поднимайся, Эльма. Мы возвращаемся. — Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять. — Они мне ничего не сделают, не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай.

— Что... Что? — Эльма растерянно озиралась, и, пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне, поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова.

Песок под кораблем убежал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка, корабли отшвартовались, и все сошло с кораблей.

Перед Сэмом и Эльмой остановился Глава марсиан: маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорез, из которой плыли по ветру слова.

— Снаряжайте вашу лавку, — сказал голос. В воздухе мелькнула рука в алмазной перчатке. — Готовьте яства, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь!

— Стало быть, — заговорил Сэм, — вы разрешите мне остаться здесь?

— Да.

— Вы на меня не сердитесь?

Маска была сурова и жестка, бесстрашна и слепа.

— Готовьте свое кормилице, — тихо сказал голос. — И возьмите вот это.

— Что это?

Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.

— Это дарственная на все земли от серебряных гор до голубых холмов, от мертвого моря до далеких долин, где лунный камень и изумруды, — сказал Глава.

— Все м-мое? — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.

— Ваше.

— Сто тысяч квадратных миль?

— Ваши.

— Ты слышала, Эльма?

Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной; глаза ее были закрыты.

— Но почему, с какой стати вы мне дарите все это? — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорезы глаз.

— Это не все. Вот.

Еще шесть свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель.

— Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса! — Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом. — Эльма, ты слышала?

— Слышала, — ответила Эльма, глядя на небо.

Казалось, она что-то разыскивает, Апатия мало-помалу оставляла ее.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал Сэм бронзовой маске.

— Это произойдет сегодня ночью, — ответила маска. — Приготовьтесь.

— Ладно. А что это будет — неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока? Все десять тысяч ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими и их женами, сто тысяч человек, как говорили? Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил, говорил, что в этом поселке одной тысячей жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще пятьдесят тысяч, через месяц — еще сто тысяч, а всего к концу года — пять миллионов с Земли! И на самой оживленной магистрали, на пути к рудникам — единственная сосисочная, моя сосисочная!

Маска парила на ветру.

— Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам.

В летучем лунном свете древние корабли — металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки — повернули и заскользили по зыбким пескам, и маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.

— Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь? — Он потряс ее за плечо. — Половина Марса — моя!

Она глядела на небо и ожидала чего-то.

— Пошли, — сказал он. — Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в колья, и чтобы чистота была — ни единого пятнышка! Эге-гей! — Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки. — Я счастлив, парень, счастлив, сэр, — запел он фальшивя. — Сегодня мой счастливый день!

Он работал, как одержимый: бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, накрошил лук.

— Ты слышала, что сказал тот марсианин — неожиданность, говорит! — Тут только одно может быть, Эльма. Эти сто тысяч человек прилетают раньше срока, сегодня ночью прилетают! Представляешь, какой у нас будет наплыв! До поздней ночи будем работать, каждый день, а там ведь еще туристы нахлынут, Эльма! Деньги-то, деньги какие!

Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.

— С минуты на минуту, — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. — А-ах!

Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба.

Прошло полчаса.

— Сэм, — сказала она. — Вон она. Гляди.

Он поглядел и увидел.

Земля.

Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла Земля.

— Старушка Земля, — с нежностью прошептал он. — Дорогая старушка Земля. Шли сюда, ко мне, своих голодных и изнуренных. Э-э... как там в стихе говорится? Шли ко мне своих голодных, Земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут, горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, Земля, присылай ракеты!

Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. Вот она, сочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря, единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле.

Он даже растрогался, глаза увлажнились от гордости.

— Тут поневоле смирением проникнешься, — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. — Подходите, — обратился он к звездам, — покупайте. Кто первый?

— Сэм, — сказала Эльма.

Земля в черном небе вдруг преобразилась.

Она воспламенилась.

Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц — будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту Земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съезжилась.



— Что это было? — Сэм глядел на зеленый огонь в небесах.

— Земля, — ответила Эльма, прижав руки к груди.

— Какая же это Земля, это не может быть Земля! Нет-нет, не Земля! Не может быть.

— Ты хочешь сказать: не могла быть? — сказала Эльма, смотря на него. — Теперь это уже не Земля, да, это больше не Земля — ты это хотел сказать?

— Не Земля, нет-нет, это была не она, — выл он.

Он стоял неподвижно, руки повисли как плети, рот открыт, тупо вытаращены глаза.

— Сэм, — позвала она. Впервые за много дней ее глаза оживились. — Сэм!

Он смотрел вверх, на небо.

— Что ж, — сказала она. С минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце. — Включай свет, больше света, заводи радиолу, раскрывай двери настежь! Жди новую партию посетителей — примерно через миллион лет. Да-да, сэр, чтобы все было готово.

Сэм не двигался.

— Ах, какое бесподобное место для сосисочной! — Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами. — Скажу тебе по секрету, Сэм, — прошептала она, наклоняясь к нему: — Похоже, начинается мертвый сезон...

## Ноябрь 2005

### *Наблюдатели*

В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новенькие веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно; они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она — Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли; это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса: прямо противоположная задача. В общем-то Земля была для них все равно что мертвой. Они расстались с ней три или четыре года назад. Расстояние обезболивало душу, семьдесят миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали, Земля вновь стала обитаемой, память пробудилась и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имярек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга.

В девять часов Земля как будто взорвалась и вспыхнула.

Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.

Они ждали.

К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.

— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.

- А что ему делается.
- Надо бы послать весточку маме.
- Она жива-здорова.
- Ты *уверен?*
- Ладно, ты только не тревожься.
- Думаешь, с ней ничего не приключилось?
- Конечно же, пошли-ка спать.

Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали:

АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ  
НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.  
ЛОС-АНЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ  
БОМБАРДИРОВКЕ. ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОИ,  
ДОМОИ, ДОМОИ.

Они поднялись из-за столов.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОИ, ДОМОИ, ДОМОИ.

- Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?
- Будто не знаешь: послать письмо на Землю стоит пять монет. Не очень-то распишешься.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОИ.

- Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?

ДОМОИ.

В три часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.

- А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер?

К рассвету все полки магазина опустели.

## Декабрь 2005

### *Безмолвные города*

На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закусочные нечитанные, порывевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли.

Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные

цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов.

За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк. А то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы. И ящичек выскочит, сверкая и бренча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле...

По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами...

Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах, и раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину!

Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом.

— Будет сделано! — крикнул он.

Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовой. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток!

Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку десятидолларовыми бумажками и побегал, обуреваемый вожелениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез десятидолларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника один доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай.

Вечером он наслаждался жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат-радиолу, которая заиграла «Нашу старую шайку». Насовал пятаков в двадцать автоматов по всему городу. Печальные звуки «Нашей старой шайки» заполнили ночь и пустынные улицы, а он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки.

С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-Авеню, утром вставал в девять, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом — запасая себе про-

дукты лет на десять, пока не вернутся с Земли ракеты. Если они вообще вернутся.

А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах — розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил.

— Черт возьми,— сказал он.— Я же совсем *один*.

Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе, по огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он ринулся прочь из этого логова нечистой силы.

Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулочка, когда услышал телефонный звонок.

Он прислушался.

«Где-то звонит телефон».

Он продолжал идти вперед.

«Сейчас кто-нибудь возьмет трубку»,— лениво подумалось ему.

Он сел на край тротуара и принялся неспеша вытряхивать камешек из ботинка.

И вдруг крикнул, вскакивая на ноги:

— Кто-нибудь! Силы небесные, да что это я!

Он лихорадочно озирался. В каком доме? Вон в том!

Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл.

Сорвал с рычага трубку.

— Алло! — крикнул он.

Зззззззззззззз.

— Алло, алло!

— Уже повесили.

— Алло! — заорал он и стукнул по аппарату. — Идиот проклятый! — выругал он себя. — Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица! — Он стиснул руками телефонный аппарат. — Ну, позвони еще раз! *Ну же!*

До сих пор ему и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот.

Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящик. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса. Их тридцать — из которого звонили?

Он не знал.

Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее.

— Да там никого и не было,— пробурчал он.— Наверно, ветер где-то повалил телефонный столб и нечаянно получился контакт.

Но ведь он слышал щелчок, точно кто-то на том конце повесил трубку?

Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле.

— И вовсе не из-за телефона,— уверял он себя.— Просто мне больше нечего делать.

Он прислушался к тиканью своих часов.

— Она не позвонит больше,— сказал он.— *Ни за что* не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверно, в эту самую минуту обзывает другие дома в городе! А я сижу здесь... Постой! — Он усмехнулся.— Почему я говорю «она»?

Он растерянно заморгал.

— С таким же успехом это мог быть и «он», верно?

Сердце угомонилось. Холодно и пусто, очень пусто.

Ему так хотелось, чтобы это была «она».

Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра.

Прислушался. Ни звука. Ни одной птицы. Ни одной автомашины. Только сердца стук. Толчок — перерыв — толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал волосы его пиджака.

— Тсс,— прошептал он.— *Слушай!*

Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой.

Она будет набирать номер за номером, думал он. Это должна быть женщина. Почему? Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет! Даже в голову не приходило. Это должна быть женщина. *Непременно* должна, видит бог!

Слушай.

Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон.

Он побежал. Остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов. Громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче! Миновал шесть домов, еще шесть! Совсем громко! Вот этот? Дверь была заперта.

Внутри звонил телефон.

— А, черт! — Он дергал дверную ручку.

Телефон надрывался.

Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом.

Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк.

Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту.

Вконец обессилив, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. Пятьдесят тысяч фамилий.

Начал с первой фамилии.

Амелия Амз. Нью-Чикаго, за сто миль, по ту сторону мертвого моря. Он набрал ее номер.

Нет ответа.

Второй абонент жил в Нью-Йорке, за голубыми горами, пять тысяч миль.

Нет ответа.

Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой; дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку.

Женский голос ответил:

— Алло?

Уолтер закричал в ответ:

— Алло, господи, алло!

— Это запись,— декламировал женский голос.— Мисс Элен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно, будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло? Это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно...

Он повесил трубку.

Его губы дергались.

Подумав, он набрал номер снова.

— Когда мисс Элен Аразумян вернется домой,— сказал он,— передайте ей, чтобы катилась к черту.

Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там скорее всего можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться, потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе. Обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши!

Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Ну, конечно же! Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой!

Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку.

Женский голос сказал:

— Алло?

— Если это запись, — отчеканил Уолтер Грипп, — я приеду и взорву к чертям ваше заведение.

— Это не запись, — ответил женский голос. — Алло! Алло, неужели тут есть живой человек! Где вы?

Она радостно взвизгнула.

Уолтер чуть не упал со стула.

— Алло!.. — Он вскочил на ноги, сверкая глазами. — Боже мой, какое счастье, как вас звать?

— Женеьева Селзор! — Она плакала в трубку. — О, господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!

— Я Уолтер Грипп!

— Уолтер, здравствуйте, Уолтер!

— Здравствуй, Женеьева!

— Уолтер. Какое чудесное имя. Уолтер, Уолтер!

— Спасибо.

— Но где же вы, Уолтер?

Какой милый, ласковый, нежный голос... Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги. Горели щеки.

— Я в Мерлин-Вилледж, — сказал он. — Я...

Зззз.

— Алло? — оторопел он.

Зззз.

Он постучал по рычагу. Ничего.

Где-то ветер свалил столб. Женеьева Селзор пропала так же внезапно, как появилась.

Он набрал номер, но аппарат был нем.

— Ничего, теперь я знаю, где она.

Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил заднее сиденье взятыми в доме продуктами и со скоростью восьмидесяти миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. Тысяча миль, подумал он. Терпи, Женеьева Селзор, я не заставлю тебя долго ждать!

Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу.

На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях мар-

сианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам.

Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал: *Женевьева. Потом тихо запел. «О Женевьева, дорогая,— пускай бежит за годом год. Но, дорогая Женевьева...»* На душе было тепло. В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос: *«Алло, о, алло, Уолтер! Это не запись. Где ты, Уолтер, где ты?»*

Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету — прикоснуться к ней. Ветер развевал длинные черные волосы, чудные волосы. А губы — как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело будто легкий светлый туман, а мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки: *«О Женевьева, дорогая — пускай бежит за годом год...»*

Он уснул.

Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь.

Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул.

Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом.

Ничего подобного не произошло.

— Уснула. — Он пошел к двери. — Я уже тут! — крикнул он. — Алло, Женевьева!

Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом.

Он распахнул стеклянную дверь и вошел.

— Эгей! — Он смущенно рассмеялся. — Не прятая! Я знаю, что ты здесь!

Он обыскал все кабинки.

Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало.

— Женевьева, — произнес он.

Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел.

— Если ты вздумала подшутить...

Он сбавил ход.

— Постой-ка, нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда?! Свернула, наверно, на древнюю Морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня! А я здесь торчу, силы небесные, какой же я идиот!

Он нажал клаксон и пулей вылетел из города.

Он гнал всю ночь. И думал: «Что если я не застаю ее в Мерлин-Вилледж?»

Вон из головы эту мысль. Она должна быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует — один раз — в губы.

*«Женевьева, дорогая»,* — насвистывал он, выжимая педалью сто миль в час.

В Мерлин-Вилледж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни; автомат, который играл сто часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк; безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо.

Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном, по шесть раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое, руки скользили по мокрой от пота баранке.

— Женестьева! — зывал он к пустынной улице.

Отворилась дверь косметического салона.

— Женестьева! — Он остановил машину и побежал через улицу.

Женестьева Селзор стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые, белые пальцы. Лицо — он увидел его, войдя в полосу света, — было круглое и толстое, глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги — толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы — неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе, их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки.

Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел.

Она уронила конфеты на тротуар.

— Вы Женестьева Селзор? — У него звенело в ушах.

— Вы Уолтер Грифф? — спросила она.

— Грипп.

— Грипп, — поправилась она.

— Здравствуйте, — выдавил он из себя.

— Здравствуйте. — Она пожала его руку.

Ее пальцы были липкими от шоколада.

— Ну, — сказал Уолтер Грипп.

— Что? — спросила Женестьева Селзор.

— Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер.

— А-а.

Деять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе-миньон, но Женестьева нашла, что оно недожарено, тогда Уолтер решил дожарить его и то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал:

— Пошли в кино!

Она сказала «ладно» и взяла его под руку липкими, шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом пятидесятилетней давности с Кларком Гейблом.

— Вот ведь умора, да? — хихикала она. — Ох, умора!

Фильм кончился.

— Крути еще раз, — велела она.

— Снова? — спросил он.

— Снова, — ответила она.

Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.

— Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего, — призналась она.

— Спасибо, — сказал он, чуть не подавившись.

— Ах, этот Гейбл. — Она ущипнула его за ногу.

— Ой, — сказал он.

После кино они пошли по безмолвным улицам «за покупками». Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла



найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку.

— Сколько тебе лет? — поинтересовался он.

— Угадай.— Она вела его по улице, капая на асфальт духами.

— Около тридцати? — сказал он.

— Вот еще, — сухо ответила она. — Мне всего двадцать семь, чтоб ты знал! Ой, вот еще кондитерская! Честное слово, с тех пор как началась эта заваруха, я живу, как миллионерша. Никогда не любила свою родину, так, болваны какие-то. Улетели на Землю два месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь — лей на себя духи, сколько хочешь, пей пиво, сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить: «Слишком много калорий!» Потому я *тут!*

— Ты тут. — Уолтер зажмурился.

— Уже поздно, — сказала она, поглядывая на него.

— Да.

— Я устала, — сказала она.

— Странно. У меня ни в одном глазу.

— О, — сказала она.

— Могу всю ночь не ложиться, — продолжал он. — Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу.

— Я устала. — Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.

— А я — как огурчик, — ответил он. — Просто удивительно.

— Пойдем в косметический салон, — сказала она. — Я тебе кое-что покажу.

Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.

— Когда я уезжала из Техас-Сити, — объяснила она, — захватила с собой вот это. — Она развязала розовую ленточку. — Подумала: ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...

Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.

— Вот.

Уолтер Грипп вытаращил глаза.

— Что это? — спросил он, преодолевая дрожь.

— Будто не знаешь, дурачок? Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное...

— Ей-богу, не знаю, что это.

— Свадебное платье, глупенький!

— Свадебное? — Он охрип.

Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее...

Он попятился.

— Очень красиво, — сказал он.

— Правда?

— Женестьева. — Он покосился на дверь.

— Да?

— Женестьева, мне нужно тебе кое-что сказать.

— Да?

Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами.

— Хочу сказать тебе... — продолжал он.

— Ну?

— До свидания!

Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину.

Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.

— Уолтер Грифф, вернись! — прорыдала она, вскинув руки.

— Грипп, — поправил он.

— Грипп! — крикнула она.

Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке.

Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что зади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, пересекающее пустынные марсианские просторы, бегущее мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал — целую неделю, и еще один день, пока не оказался за десять тысяч миль от Мерлин-Вилледж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвиль-Спрингс, с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там; у него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на сто, запас сигарет на десять тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом.

Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон — он не отвечает.

## Апрель 2026

### *Долгие годы*

Так уж повелось: когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хетэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на Земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту.

Шел двадцатый год после Большой Войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хетэуэй и его семья часто размышляли об этом.

В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок, заброшенного американского города.

Но вот буря утихла, прояснилось, и Хетэуэй вышел посмотреть на Землю — зеленый огонек в ветренных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел лучше вернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души, — подумал он. — Один я. И они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги.

Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой тридцатидюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приме-

тил. «Что ж, если я буду беречь себя,— подумал он,— еще лет двадцать проживу». Глядишь, кто-нибудь явится. Либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени.

— Я пойду погуляю,— крикнул он в дверь.

— Хорошо,— отозвалась жена.

Он неспеша пошел вниз между рядами развалин.

— «Сделано в Нью-Йорке»,— прочитал он на куске металла.— Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли...

И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже пятьдесят веков стояло марсианское селение.

Он пришел на уединенное марсианское кладбище: небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овеваемом пустынными ветрами.

Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста, и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли.

— Ты простишь меня за то, что я сделал? — спросил он один из крестов.— Я был очень, очень одинок. Ведь ты понимаешь?

Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони.

— Все ждешь и ждешь, и смотришь,— пробормотал он,— и, может быть, однажды ночью...

В небе горел красный огонек.

Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери.

— Смотришь еще раз...— прошептал он.

Красный огонек горел в том же месте.

— Вчера вечером его не было,— прошептал он.

Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо.

Через минуту — после долгого иступленного взгляда на небо — он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить.

— У меня хорошие новости,— сказал он.— Я смотрел на небо. Сюда летит ракета, она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь.

Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал.

В три часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка.

Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю — такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хетзуэю и его семье.

Он вернулся в дом; сердце билось болезненно и часто.

— Видите? — Он держал в поднятой руке запыленную бутылку.— Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок и кто-нибудь найдет нас! Выпьем же и порадуемся!

Он наполнил пять бокалов.

— Да, немало времени прошло...— заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал.— Помните день, когда разразилась война? Двадцать лет и семь месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети — мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть до смерти не загнали наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город

был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших, — помнишь, помнишь? А потом оказалось, что отстали-то *только мы*, помнишь? Боже мой, сколько лет минуло. Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас. — Он поднял бокал. — И за наше долгое совместное ожидание.

Он выпил вино.

Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы. И у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам.

К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута: красное пятнышко на небе стало расти.

Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хетэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро.

— Мы приготовим им роскошный завтрак. — Хетэуэй радостно рассмеялся. — Надевайте свои лучшие наряды!

Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которые он за эти годы починил и наладил своими искусными, тонкими, нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать.

Он извлек из морозильника седые от инея коробки с бобами и клубникой двадцатилетней давности. «Вылезай, несчастный», — и достал холодного цыпленка.

Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами.

Словно мальчишка Хетэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки.

Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек.

Хетэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал:

— Капитан Уайлдер!

— Кто это? — спросил капитан Уайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. — Господи, да это же Хетэуэй!

— Совершенно верно, это я.

— Хетэуэй из моего первого экипажа, из Четвертой экспедиции. Они внимательно оглядели друг друга.

— Давненько мы расстались, капитан.

— Очень давно. Я рад вас видеть.

— Я постарел, — сказал Хетэуэй без обиняков.

— Я и сам уже не молод. Двадцать лет мотался: Юпитер, Сатурн, Нептун.

— Как же, слышал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. — Старик огляделся. — Вы столько путешествовали, наверно, не знаете даже, что произошло...

— Догадываюсь,— ответил Уайлдер.— Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас, нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп, в десяти тысячах милях отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер, даже марсиан не осталось. А как Земля?

— Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?

— Да. Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на Землю.

— Вы возьмете нас с собой?

Капитан на миг опешил.

— Ах, да, разумеется, у вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, двадцать пять лет назад, верно? Когда построили Первый Город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети...

— Сын, две дочери...

— Да-да, припоминаю. Они здесь?

— В нашей лачуге, вон там на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?

— Сочтем за честь, мистер Хетэуэй.— Капитан Уайлдер повернулся к ракете.— Оставить корабль!

Они шли вверх по откосу — Хетэуэй и капитан Уайлдер, за ними еще двадцать человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный.

— Помните Спендера, капитан?

— Никогда не забывал...

— Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверно, счастлив, что все отсюда убрались.

— А этот... как его? Паркхилл, Сэм Паркхилл, что с ним стало?

— Открыл сосисочную.

— Похоже на него.

— А через неделю — война, и он вернулся на Землю.— Хетэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце.— Простите. Переволновался. После столько лет — и вдруг встреча с вами. Отдохну немного.

Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно...

— У нас есть врач,— сказал Уайлдер.— Не обижайтесь, Хетэуэй, я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим...

Позвали доктора.

— Сейчас пройдет,— твердил Хетэуэй.— Это все ожидание, волнение.

Он задыхался. Губы посинели.

— Понимаете,— сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп,— ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на Землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы.

— Вот.— Доктор подал ему желтую таблетку.— Вам бы лучше тут отдохнуть подольше.

— Ерунда. Еще чуточку посижу, и все. До чего я рад видеть вас всех. Рад слышать новые голоса.

— Таблетка действует?

— Отлично. Пошли!

Они поднялись на горку. — Алиса, погляди, кого я привел! — Хетэуэй нахмурился и просунул голову в дверь. — Алиса, ты слышишь?

Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные, за ними еще более рослый сын.

— Алиса, помнишь капитана Уайлдера?

Она замялась, посмотрела на Хетэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась.

— Ну, конечно, капитан Уайлдер!

— Помнится, миссис Хетэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер.

Она горячо пожала его руку.

— Мои дочери, Маргарет и Сьюзен. Мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?

Рукопожатия, смех, оживленная речь.

Капитан Уайлдер потянул носом.

— Неужели *имбирные пряники*?

— Хотите?

Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хетэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумнодвигающихся высоких дочерей. Рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких, без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хетэуэй.

— Сколько вам лет, Джон?

— Двадцать три, — ответил тот.

Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему:

— Капитан Уайлдер, тут что-то не так.

Сын пошел за стульями.

— Что вы хотите сказать, Уильямсон?

— Мне сорок три года, капитан. Двадцать лет назад я учился вместе с молодым Хетэуэем. Он говорит, что ему теперь всего двадцать три, но это одна *видимость*. Это все неправильно. Ему должно быть сорок два, самое малое. Что все это значит, сэр?

— Не знаю.

— На вас лица нет, сэр.

— Мне нездоровится. И дочери тоже — я их видел лет двадцать назад, а они не изменились, ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего десять минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы сажались.

— Прощу! О чем это вы так серьезно разговариваете? — Миссис Хетэуэй проворно налила супу в их миски. — Улыбнитесь же! Мы все вместе опять, путешествие завершено, вы почти дома!

— Да-да, конечно. — Капитан Уайлдер засмеялся. — Вы так чудесно, молодо выглядите, миссис Хетэуэй!

— Ах, эти мужчины!

Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разбуряившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелки, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей.

Уильямсон сбежал вниз по склону.

— Куда это он? — спросил Хетэуэй.

— Проверить ракету, — ответил Уайлдер. — Так вот, Хетэуэй, на Юпитере ничего нет, человеку там делать нечего. На Сатурне и Плуtone — тоже...

Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса; он думал только об одном: сейчас Уильямсон бежит вниз, скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ...

— Спасибо.

Маргарет Хетэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело.

Сидевший против капитана Хетэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия.

Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо:

— Ну?

— Я нашел это место, сэр.

— Ну, ну?

Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот.

Уильямсон сказал:

— Я прошел на кладбище.

— Видели четыре креста?

— Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться. — Он стал читать по белой бумажке: — Алиса, Маргарет, Сюзен и Джон Хетэуэй. Умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года.

— Спасибо, Уильямсон. — Уайлдер закрыл глаза.

— Девятнадцать лет назад, сэр. — Рука Уильямсона дрожала.

— Да.

— Но кто же *эти*?

— Не знаю.

— Что вы собираетесь предпринять?

— Также не знаю.

— Расскажем остальным?

— Позже. Продолжайте есть, как ни в чем не бывало.

— Мне что-то больше не хочется, сэр.

Завтрак завершило вино, принесенное с ракеты. Хетэуэй встал.

— За ваше здоровье. Я так рад снова быть вместе с друзьями. И еще за мою жену и детей — без них, в одиночестве, я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета.

Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев; они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза.

Хетэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика.

— Уайлдер? — голос Хетэуэя был едва слышен. — Я испортил вам завтрак.

— Чепуха.

— Прощайтесь за меня с Алисой и детьми.

— Сейчас я их позову.

— Нет-нет, не надо! — задыхаясь, прошептал Хетэуэй. — Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали! Не надо!

Уайлдер повиновался.

Хетэуэй умер.

Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хетэуэя. Он подошел к Алисе Хетэуэй, глянул ей в лицо и сказал:

— Вы знаете, что случилось?

— Что-нибудь с моим мужем?

— Он только что скончался: сердце. — Уайлдер следил за выражением ее лица.

— Очень жаль, — сказала она.

— Вам не больно? — спросил он.

— Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль.

Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые маникюрные ногти, тонкие запястья. Посмотрел на ее длинную, нежную белую шею и умные глаза. Наконец сказал:

— Мистер Хетэуэй великолепно сделал вас и детей.

— Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть.

— С вами ему было легче.

— Да, из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку — всюду загораются огни и город начинает шуметь, точно в нем десять тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хетэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, и он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара — и мистер Хетэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать — чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими



же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю даже, он сам того хотел.

— Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят четыре креста. Думаю, это отвечает его желанию.

Она легко коснулась рукой его запястья.

— Я уверена в этом.

Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножью холма; семья следовала на ней. Двое несли Хетэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хетэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской.

Каково это, спрашивал он себя, жить на планете с женой и тремя детьми — и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием? Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет, частица за частицей, то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все что угодно.

Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу.

Они вернулись к ракете под вечер.

Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.

— Что будем делать с ними?

— Не знаю, — сказал капитан.

— Может, вы их выключите?

— Выключить? — Капитан несколько удивился. — Мне это не приходило в голову.

— Но вы же не повезете их с собой?

— Нет, это ни к чему.

— Неужели вы хотите оставить их здесь, вот *таких*. какие они есть?

Капитан протянул Уильямсону пистолет.

— Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня.

Пять минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги, весь в испарине.

— Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне. И остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство!

Уайлдер кивнул.

— Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия — десять, пятьдесят, двести лет. Так-то... У них ничуть не меньше прав на... на жизнь, чем у вас, меня, любого из нас. — Он выбил пепел из трубки. — Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится.

День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил:

— Уж не собираетесь ли вы сходить э-э... попрощаться с ними?

Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.

— Не ваше дело.

Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку.

Спустя минуту он бегом вернулся к ракете.

По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шести-гранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет; ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры — женщина, две дочери и сын — не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются.

Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя Земли, не понимая, зачем она это делает; потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.

Август 2026

*Будет ласковый дождь*

В гостиной говорящие часы настойчиво пели *тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора!* — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: *девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!*

На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.

— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с толка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. — Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.

Где-то в стенах шелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты-памятки.

*Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна!* Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам.

На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень...» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.

Во дворе зазвонил гараж, поднимаемая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина... Минута, другая — дверь опустилась на место.

В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.

*Девять пятнадцать,* — пропели часы, — *пора уборкой заняться.*

Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помеще-

ниях кишки маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.

*Десять часов.* Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видимое на много миль вокруг.

*Десять пятнадцать.* Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение... Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча; напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.

Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.

Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света...

Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня! Как бдительно он спрашивал: «Кто там? Пароль?» И не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с одержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, — если у механизмов может быть паранойя.

Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко шелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!

Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.

*Двенадцать.*

У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес.

Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!

Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинки или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Баалом притаился в темном углу.

Пес побежал вверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.

Он принялся и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.

Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.

*Два часа*, — пропел голос.

Учяя наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.

*Два пятнадцать.*

Пес исчез.

Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.

*Два тридцать пять.*

Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.

Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.

В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.

*Половина пятого.*

Стены детской комнаты засветились.

На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминающая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчанье сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.

Время детской передачи.

*Пять часов.* Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.

*Шесть, семь, восемь часов.* Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.

*Девять часов.* Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.

*Девять ноль пять.* В кабинете с потолка донесся голос:

— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?

Дом молчал.

Наконец голос сказал:

— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.

Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.

— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь...

Будет ласковый дождь, будет запах земли,  
Щебет юрких стрижей от зари до зари,

И ночные рулады лягушек в прудах.  
И цветение слив в белопенных садах;

Огнегрудый комочек слетит на забор,  
И малиновки трель выткет звонкий узор,

И никто, и никто не вспомнит войну:  
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.

И ни птица, ни ива слезы не прольет,  
Если сгинет с Земли человеческий род.

И весна... и Весна встретит новый рассвет,  
Не заметив, что нас уже нет.

В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немного пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.

В десять часов наступила агония.

Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!

— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горячая жидкость растеклась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил:

— Пожар! Пожар! Пожар!

Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.

Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.

Еще из стен, семена, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссекла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки.

Огонь потрескивал, пожирал ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.

Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!

Но тут появилось подкрепление.

Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии.

Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.

Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.

Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.

Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.

В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали...

Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.

И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.

На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!

Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Колодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.

Дым и тишина. Огромные клубы дыма.

На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:

— Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня...

*Каникулы на Марсе*

Эту мысль почему-то высказала мама — а не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамыны. Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама.

Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке — из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму.

Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук. Вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед, под дружные крики «ура»!

Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса и вот с места в карьер отправились — во всяком случае, так было сказано — на рыбалку.

Лодка неслась по каналу... Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, а не хмурились и не скорбели.

Новый поворот канала — и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.

— А мы далеко едем?

Роберт шлепал рукой по воде — будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади.

Отец вздохнул:

— За миллион лет.

— Ух ты! — удивился Роберт.

— Поглядите, дети.— Мама подняла длинную гибкую руку.— Мертвый город.

Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов.

У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв.

Город: хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше — опять песок, песок, миля за милей... Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним.

Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез.

Папа даже изменился в лице от испуга.

— Мне почудилось, что это ракета.

Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть Землю, и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько

он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой.

Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки.

Он улыбнулся сыну:

— Ну, как оно, Тимми?

— Отлично, папа.

Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим, шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома, на Земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.

— Что ты так высматриваешь, пап?

— Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность.

— И как — увидел?

— Нет. Не нашел. Их больше нет на Земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.

— Это как же?

— Смотри, смотри, вон рыба,— показал отец.

Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась, так дружно они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты, вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадали съедобные крупинки.

— В точности как война,— глухо произнес отец.— Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг — и Земли нет.

— Уильям,— сказала мама.

— Извини.

Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеная стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.

— А когда мы увидим марсиан? — воскликнул Майкл.

— Скоро,— заверил его отец.— Может быть, вечером.

— Но ведь марсиане все вымерли,— сказала мама.

— Нет, не вымерли,— не сразу ответил папа.— Я покажу вам марсиан, точно.

Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые.

А его братья уже устали из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан.

— Какие они? — допытывался Майкл.

— Узнаешь, когда увидишь.— Отец вроде усмехнулся, и Тимоти приметил, как у него подергивается щека.

Мама была хрупкая и нежная, золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах — словно рыбы, одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые,



а иногда — скажем, если она глядела на небо, туда, где Земля, — в глазах ничего не было, один только цвет... Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник.

Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу; в его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость, и напряжение спало с ее лица, она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего ей искать.

Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые — встрахихи их — загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. Сто, двести городов, видящих летние сны — жаркие днем и прохладные ночью...

Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется поехали на каникулы! А для чего все эти продукты — хватит с ливной не на один год, — которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы! Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, — что может занимать мальчишек в десять и восемь лет?

— Ну, где же марсиане? Дураки какие-то! — Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал.

У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке: прижми его к голове, возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов — угрюмое, изможденное, безжизненное.

Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись.

— Что... — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил.

Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громоздящихся друг на друга исполнившихся взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее.

Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл испуганно и восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя как мимо самого его носа летят быстрые струи.

Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал, к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся, а отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны; облизав камень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все смешалось в игре солнечных бликов, потом рябь исчезла.

Папа прислушался. Они все прислушались.

Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака о холодные, влажные камни причала. Мамины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет.

Отец глубоко, с облегчением, вздохнул и рассмеялся сам над собой.

— Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым. Конечно, ракета.

— А что это было, пап,— спросил Майкл,— что это было?

— Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все.— Тимоти старался говорить буднично.— Что ли не слышал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже...

— А зачем мы нашу ракету взорвали? — не унимался Майкл.— Зачем, пап?

— Так полагается по игре, дурачок! — ответил Тимоти.

— По игре?! — Майкл и Роберт очень любили это слово.

— Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались! Если кто захочет нас искать, понятно?

— Ух ты, тайна!

— Собственной ракеты испугался,— признался отец маме.— Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит: если Эдвардс с женой сумеют добраться.

Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная.

— Все, конец,— сказал он маме.— Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.

— На сколько? — спросил Роберт.

— Может быть...может быть, ваши правнуки снова услышат радио,— ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.

Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.

Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.

Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.

— Майк, выбирай город.

— Что, папа?

— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.

— Ладно,— сказал Майкл.— А как выбирать?

— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу.

— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане,— сказал Майкл.

— Будут марсиане,— ответил отец.— Обещаю.— Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.

За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не помнил про взрывы; теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно.

Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты!» «Влеск!» «Вот это да!»

Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощеные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи,

освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.

— Здесь, — дружно сказали все.

Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.

— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!

— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота? — Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русской головке Майкла: — Слушай.

Майкл прислушался.

— Ничего, — сказал он.

— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.

Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.

— погоди, Майкл, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!

— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.

— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.

— Мой?

— Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город, на троих.

Тимоти выпрыгнул из лодки.

— Глядите, ребята, все наше! Все-все!

Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на ка-никулах», и братишки должны играть.

Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.

— Берегите сестренку, — сказал папа; лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.

И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом — в мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.

— Дней через пять, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.

— Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их?

— Четыре.

— Как бы потом из-за этого неприятностей не было. — Мама медленно покачала головой.

— Девчонки. — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физономии марсианских истуканов. — Девчонки.

— Они тоже на ракете прилетят?

— Да. Если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались.

— А откуда ты взял ракету? — шепотом спросил Тимоти; двое других мальчугов уже убежали вперед.

— Я ее прятал. Двадцать лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, но я все время думал о Марсе...

— И о пикнике!..

— Вот-вот! Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец — я ждал до последней минуты! — то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.

— А зачем ты ее взорвал, папа?

— Чтобы мы не могли вернуться, никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут.

— Ты поэтому все время на небо глядишь?

— Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен, в этом все дело.

Прибежал обратно Майкл.

— Пап, это вправду наш город?

— Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью.

Они стояли — Король Холмов и Пригорков, Первейший из Главных, Правитель Всего Обозримого Пространства, Непогрешимые Монархи и Президенты, — пытаясь осмыслить, что это значит, владеть целым миром, и как это много — целый мир!

В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги.

На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буквы прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов.

«Государственные облигации; Коммерческая статистика 1999 года; Религиозные предрассудки, эссе; Наука о военном снабжении; Проблемы панамериканского единства; Виржевой вестник за 3 июля 1998 года; Военный сборник...»

Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь, одну за другой, и объяснял своим детям в чем дело.

— Пора вам кое-что растолковать. Наверно, я был не прав, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть.

Он уронил в огонь лист бумаги.

— Я сжигаю образ жизни — тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица Земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях, они, словно дети, чрезмерно увлеклись занятыми вещами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались; без конца придумывали все новые и новые машины — вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили Землю. Вот, что означает молчание радио. Вот, от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил... Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, — если они вообще возобновятся. Тот образ

жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите...

Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги.

— Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на Земле, и идти по новому пути...

Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупницы горячего пепла, который скоро развеет ветром.

Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира... Она корчилась, корежилась от жара, порх — и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.

— А теперь я покажу вам марсиан, — сказал отец. — Пойдем, вставайте. Ты тоже, Алиса.

Он взял ее за руку.

Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу.

Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока — смешливые девчонки, со своими папой и мамой.

Ночь окружила их, выпали звезды. Но Земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься...

Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец:

— Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем... Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверно, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь, по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет сто, чтобы еще и Марс отравить. Теперь-то, конечно...

Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный, в его влажном зеркале отражалась ночь.

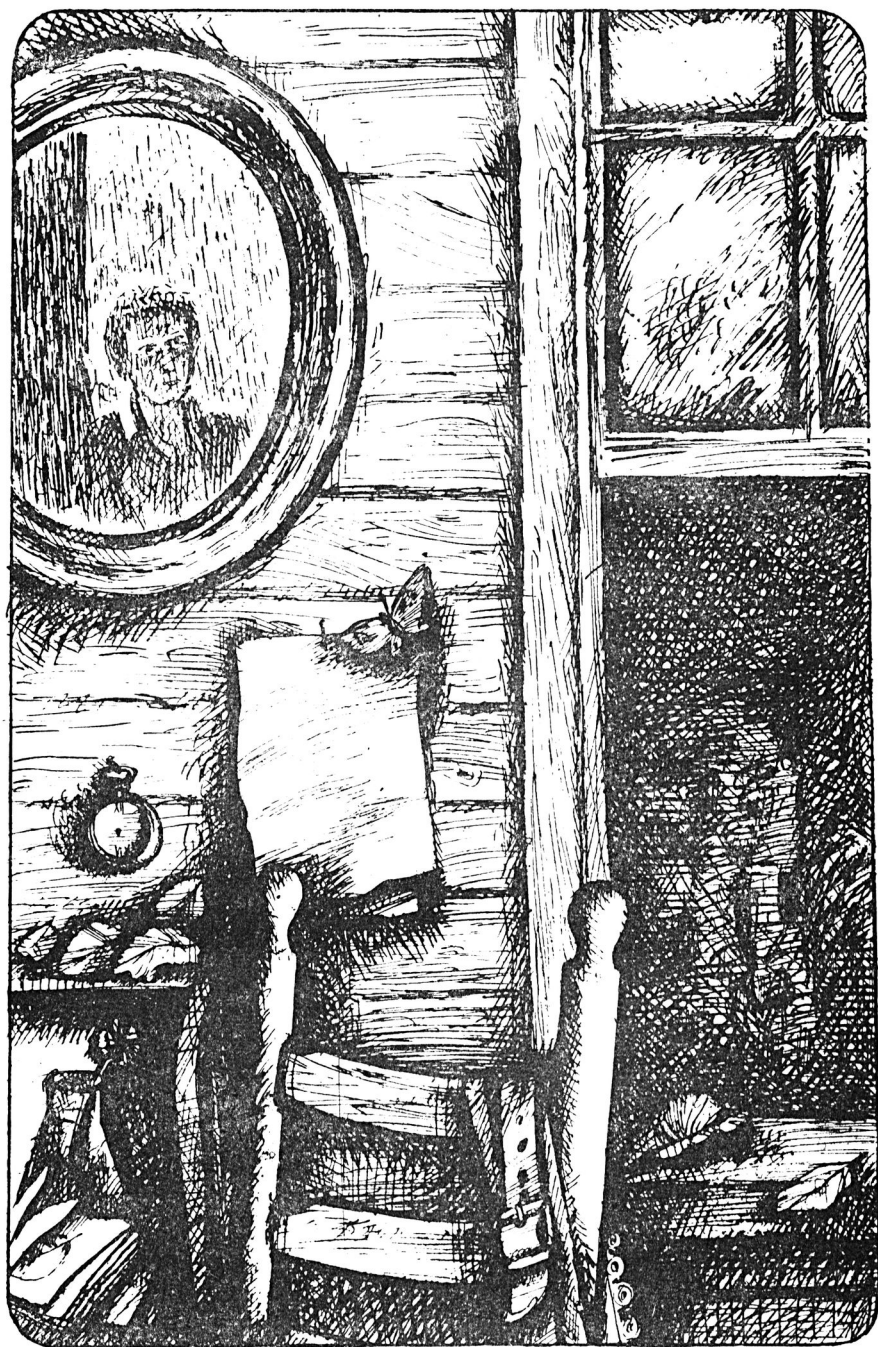
— Мне всегда так хотелось увидеть марсианина, — сказал Майкл. — Где же они, папа? Ты ведь обещал.

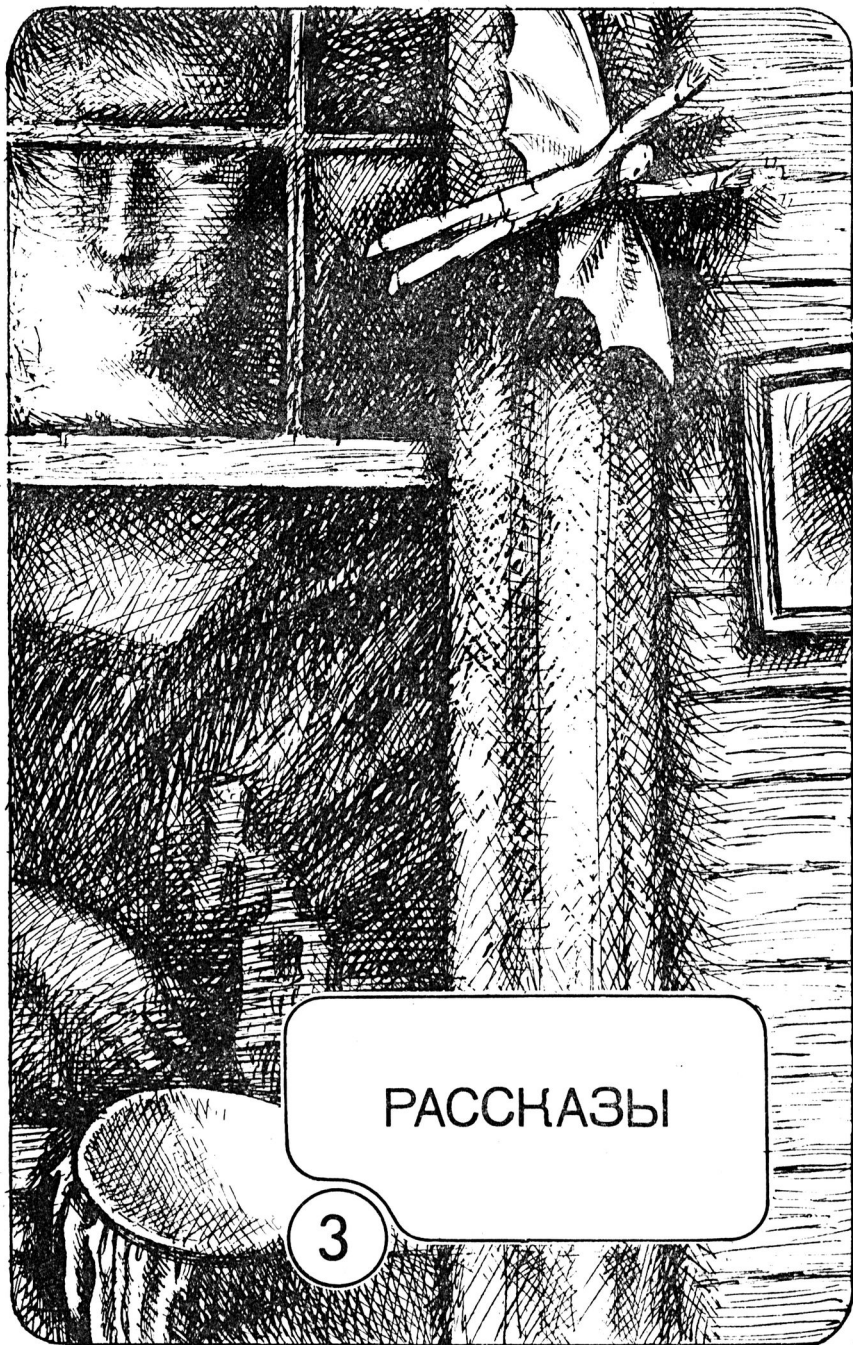
— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.

Марсиане!.. Тимоти охватила дрожь.

Марсиане. В канале. Отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.

Долго, долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане...





РАССКАЗЫ

3

## И грянул гром

Объявление на стене расплылось, словно его затащило пленкой скользкой теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

**А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ  
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО  
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ  
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО  
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ**

В глотке Экельса скопилась теплая слюна; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари<sup>1</sup> живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять», значит — не стрелять. Не выполните его распоряжения по возвращении заплатите штраф — еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это бу-

---

<sup>1</sup> Сафари — охотничья экспедиция.



дет сделано одним лишь движением руки....

— Черт возьми,— выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины.— Настоящая Машина времени! — Он покачал головой.— Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно,— отозвался человек за конторкой.— Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись,— шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.— Туганпо-самгиз тех. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения.

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать *настоящий* охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха, ни пера,— сказал человек за конторкой.— Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокошущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019. 1999! 1957! Мимо! Машина редела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник — Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь,— ответил в наушниках Тревис.— У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи,— произнес Экельс.— Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на гору беседовать с богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. *Помните об этом.* Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников Компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: *не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах!* Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну, так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — *миллиард* мышей!

— Хорошо, они сдохли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив *одну* мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, — не просто один человек, нет! Это

*целый будущий народ.* Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задущенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. *Никогда* не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы *не в состоянии* повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменению социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найди зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. И когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы *осторожны*?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя. Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет

проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы мистер Экельс,— обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну, все,— отрезал Тревис.— Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как печерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис.— Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш Туганпозамгис?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно,— пробормотал Экельс.— Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис.— Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит бог: это совсем другое дело,— произнес Экельс.— Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо,— сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди,— прошептал он.— В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотанья, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился Туганпозамгис гех.

— Силы небесные,— пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной коль-

чуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеинная шея легко вздымала к небу тысячекilограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скольльзящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытянется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно зараннее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг-другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья вметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Туганпозаитиг. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и злобный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрел до Машины.

Подожел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам. — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машинкой. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса.

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис страхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем *знать*? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, горе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестили стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— Напрасно! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает.....

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите,— скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя, нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис. — Что вы там такое *увидели*?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая, на стенах, мебели, в небе за окном — они... они... да: что с ними *случилось*? А тут еще это ощущение. По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не *тем* человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ  
АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО  
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ  
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО  
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за *такой* малости... Нет!

На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за *бабочки* — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. *Не может быть, чтобы она что-то изменила.* Мертвая бабочка — и такие последствия? **Невозможно!**

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.



— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик, Кейт? Теперь у власти железный человек! — Слышащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее *туда*, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром.

## Вельд<sup>1</sup>

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь, причем. — Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. — Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну, — сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она одна стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее», — заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двухмерные стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд — трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца, — предложил он, — уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь, — сказала жена.

<sup>1</sup> Вельд — название диких степей Южной Африки.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопных копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари, — услышал он голос жены.

— Стервятники...

— Смотри-ка, львы, вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

— Какое-нибудь животное. — Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от спящего солнца. — Зебру... или жирафенка...

— Ты уверен? — Ее голос звучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, — шутливо ответил он. — Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

— Ты не слышал крика? — спросила она.

— Нет.

— Так с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в который раз — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства — за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные — да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскричала Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побегал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего, не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно — Африка в вашей гостиной! — но все это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

— Мне страшно.— Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача.— Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

— Послушай, Лидия...

— Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

— Конечно... конечно.— Он погладил ее волосы.

— Обещаешь?

— Разумеется.

— И запи детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

— Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.

— Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

— Ладно.— Он неохотно запер тяжелую дверь.— Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

— Не знаю... Не знаю.— Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось.— Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?

— Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?

— Да.— Она кивнула.

— И штопать мои носки?

— Да.— Порывистый кивок; глаза полны слез.

— И заниматься уборкой?

— Да, да... Конечно!

— А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим?

— Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом — и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одна дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.

— Наверно, слишком много курю.

— У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворное чуть больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

— Я?..— Он помолчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

— О Джорджи! — Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты.— Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь — она вздрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет,— ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Мы забыли кетчуп,— сказал он.

— Простите,— произнес тонкий голосок внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская...— подумал Джордж Хэдли.— Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. Удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях льва... Снова и снова смерть.

— Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Откуда-то доносился львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слух коснулся далекий крик. Снова рычанье львов... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в стране чудес, или фальшивую черепаху, или Аладдина с его волшебной лампой, или Джека Тыквенную Голову из страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую,— всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе Пегаса, или розовые фонтаны фейерверка, или слышал ангельское пение. А теперь перед ним желтая раскаленная Африка, огромная печь, которая пышет убийством. Может быть, Лидия права. Может, и впрямь надо на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека, но если пылкая детская фантазия чрезмерно увлекается каким-то одним мотивом?.. Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык, чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хэдли стоял один в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полная иллюзия настоящих зверей — если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужинавшую жену.

— Уходите,— сказал он львам.

Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

— Пусть появится Аладдин с его лампой,— рявкнул он. По-прежнему вельд, и все те же львы...

— Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

— Аладдин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната,— сказал он,— поломалась. Не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или *не может* послушаться,— ответила Лидия.— Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— *Заставил?*

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

— Вы как раз успели к ужину,— сказали родители вместе.

— Мы наелись земляничного мороженого и сосисок,— ответили дети, отмахиваясь руками.— Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую,— позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее,— продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю,— сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев,— усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет,— невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я не помню никакой Африки.— Питер повернулся к Венди.— А ты?

— Нет.

— А ну, сбегай, проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам,— сказал Питер.

— Что мне рассказывать, когда я сам видел.

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся, пойдем-ка.

Но Венди уже вернулась.

— Никакой Африки нет,— доложила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим,— ответил Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую. Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве — очаровательная таинственная Рима, на длинных распушенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать,— велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке?

— Мой старый бумажник,— ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю,— ответил он,— ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната...

— Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

— Ой, так ли это... — Он посмотрел на потолок.

— Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем — непослушание, секреты от родителей...

— Кто это сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно — они стали не-сносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их отпрыски. Мы их портим, они нас.

— Они переменились с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад? — когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Девида Макклина и попрошу взглянуть на эту Африку.

— Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят,— сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

— Да,— отозвался он.— Они проникли в детскую комнату.

— Эти крики... они мне что-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

— Отец,— сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего?— резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...

— Я думал, мы можем играть во что хотим.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую,— холодно произнес Питер. — Никогда.

— Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

— Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.

— Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

— Хорошо, ступай, играй в Африке.

— Так вы решили скоро выключить наш дом?

— Мы об этом подумывали.

— Советую тебе подумать еще раз, отец.

— Но-но, сынок, без угроз!

— Отлично.— И Питер отправился в детскую.

— Я не опоздал? — спросил Девид Макклин.

— Завтрак? — предложил Джордж Хедли.

— Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?

— Девид, ты разбираешься в психике?

— Как будто.

— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда ты заметил что-нибудь особенное?

— Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую,— объяснил отец семейства,— а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот,— сказал Джордж Хедли.— Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

— Ну-ка, дети, ступайте в сад,— распорядился Джордж Хедли.— Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены, как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это,— сказал Джордж Хедли.— Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Девид Макклин сухо усмехнулся.

— Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

— Давно это продолжается?

— Чуть больше месяца.

— Да, ощущение неприятное...

— Мне нужны факты, а не чувства.

— Дружнице Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

— Неужели до этого дошло?

— Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

— Ты это и раньше чувствовал?

— Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

— Я не пустил их в Нью-Йорк.

— Еще?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

— Ага!

— Тебе это что-нибудь говорит?

— Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих — для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком резким шоком для ребят — вдруг запереть навсегда детскую?

— Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.



— Теперь я чувствую себя преследуемым,— произнес Макклин.— Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

— А лвы — совсем как настоящие, верно? — сказал Джордж Хедли.— Ты не допускаешь возможности...

— Что?!

— ...что они могут стать настоящими?

— По-моему, нет.

— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

— Нет.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали,— сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей,— ответил Девид Макклин.— До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф.— Твой?

— Нет.— Лицо Джорджа окаменело.— Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, металась по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

— Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж,— сказала Лидия Хедли,— включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажмении на кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате.— Не позволяй отцу убивать все.— Он повернулся к отцу.— До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! — кричали они.

— Джордж, — сказала ему жена, — это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Девид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев навверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом, — вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар!

— Гордыня, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

— Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

— Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. — Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками. — Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

— Вот и я,— сказал Девид Макклин, стоя на пороге детской комнаты.— О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин заметил вдали львов — они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев. Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее. Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Маккина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

### Земляничное окошко

Ему снилось, что он затворяет наружную дверь — дверь с земляничными и лимонными окошками, с окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды. Вокруг большого стекла в середине распластались две дюжины маленьких окошек цвета фруктовых соков, и студня, и охлаждающих леденцов. Он хорошо помнил, как в детстве отец поднимал его на руках: «Гляди!» И через зеленое стекло мир был изумрудным, цвета мха и мяты. «Гляди!» Сиреневое оконце превращало всех прохожих в фиолетовые виноградины. И наконец — земляничное окошко, которое преображало городок, несло тепло и радость, весь мир озаряло розовым восходом, и стриженный газон казался привезенным с персидского коврового базара. Земляничное окошко, самое чудесное из всех, исцеляло людей от их бледности, делало холодный дождь теплым и превращало в язычки алого пламени летучий, мятущийся февральский снег.

— Вижу, вижу! Тут!..

Он проснулся.

Еще оставаясь под впечатлением сна, он уловил голоса своих сыновей и, лежа во мраке, прислушался к невнятному говору в детской: какой печальный звук, словно шелест ветра над белым дном высохших морей в голубых горах... И он вспомнил.

«Мы на Марсе», — подумал он.

— Что? — вскрикнула жена сквозь сон.

Не заметил, что говорит вслух! Он замер, стараясь не шевелиться, но тут же — горькая явь — увидел, как жена встает с кровати и скользит через комнату к высокому узкому окну их сборного цельнометаллического дома, обратив бледное лицо к ярким звездам — чужим звездам.

— Керри, — шепнул он.

Она не услышала.

— Керри, — продолжал он, — мне нужно тебе кое-что сообщить. Уже целый месяц собираюсь сказать тебе... Завтра... завтра утром будет...

Но его жена, озаренная голубым звездным сиянием, целиком ушла в себя и не хотела даже глядеть на него.

«Скорее бы взошло солнце,— думал он,— скорее бы кончилась ночь». Потому что днем он плотничал, работал на строительстве городка, мальчишки учились в школе, Керри была занята уборкой, садом, кухней. Когда же заходило солнце и руки не были заняты ни цветами, ни молотком, ни учебниками, во мраке, будто ночные птицы, прилетали воспоминания.

Его жена пошевелинулась, чуть-чуть повернула голову.

— Боб,— наконец сказала она,— я хочу домой.

— Керри!

— Это не дом,— продолжала она.

Он увидел, что ее глаза полны слез, и они льются через край.

— Керри, надо продержаться еще немного.

— Я уже столько времени держусь, все ногти поломала!

И она, двигаясь будто во сне, выдвинула ящики своего комода и принялась доставать оттуда пласты носовых платков, юбок, белья и складывала их наверху, не глядя; ее пальцы сами нащупывали нужные предметы, поднимали и опускали их. И все это далеко не ново, все известно заранее... Будет говорить и говорить, и перекладывать вещи, потом постоит и уберет все на место, и вернется, вытерев глаза, в постель, к сновидениям. Он боялся, однако, что однажды ночью она действительно опустошит все ящики и возьмет чемоданы — старинные чемоданы, что громоздятся возле стены.

— Боб...— В ее голосе не было горечи, он звучал мягко и монотонно и был такой же бесцветный, как лунное сияние, показывающее, чем она занята.— Я столько раз на протяжении этих шести месяцев завожу по ночам один и тот же разговор, что мне самой совестно. Ты без устали трудишься, строишь дома в городке. Мужчина, который так много трудится, вправе быть избавленным от укоров жены. Но другого выхода нет, я должна выговориться до конца. Мелочи — вот чего мне больше всего не хватает. Не знаю... Ну, в общем, пустячков. Наших качелей, что висели на террасе дома, в Огайо. Плетеной качалки, летних вечеров. Сидишь вечером и смотришь, как мимо идут или едут верхом люди. Или наше черное пианино, которое давно уже пора настроить. Мое шведское зеркало. Мебель из нашей гостиной — знаю, знаю, она напоминает стадо слонов и давно вышла из моды. И хрустальная люстра, которая тихо звенела, как подует ветер. Посидеть июльским вечером на террасе, посудачить с соседками... Все эти пустячки, эти глупости, которые никакой роли не играют. И все-таки почему-то именно они приходят на ум в три часа ночи. Извини меня.

— Не извиняйся,— ответил он.— Ведь Марс место необычное. Станные запахи, странные виды, странные ощущения. Я и сам лежу и размышляю по ночам. Чудесный город мы покинули...

— Он был зеленый,— сказала она.— Зеленый весной и летом. Осенью желтый и красный. И дом у нас был чудесный, а какой старый — лет восемьдесят-девяносто, или около того. Я любила по ночам слушать, как он разговаривает, шепчется. Кругом сухое дерево: балки, терраса, пороги. Коснись в любом месте — ответит. Каждая комната по-своему. А когда сразу весь дом разговаривал, то это было, словно целая семья окружает тебя во мраке и убаюкивает. Ни один из тех домов, которые теперь строят, не может с ним сравниться. Чтобы у дома появилась своя душа, свой аромат, в нем должно пожить немало людей, не одно поколение. А это... жилище, оно даже не знает о моем присутствии, ему все рав-

но, жива ли я или умерла. Издает только жестяные звуки, а жечь холодная. В нем нет пор, которые могли бы впитывать годы. Нет подвала, куда бы ты откладывал что-нибудь на следующий год и еще дальше впрок. Нет чердака, чтобы хранить вещи, оставшиеся с прошлых лет, вещи той поры, когда тебя еще не было на свете. Нам бы сюда хоть маленькую частицу знакомого, близкого, Боб, и можно бы мириться со всем необычным. Но когда все кругом, *все без исключения* необычно, то придет целая вечность, прежде чем оно станет близким.

Он кивнул во мраке.

— Все, что ты говоришь, я сам передумал.

Она смотрела на лунный свет на чемоданах возле стены. Он увидел, как она протягивает руку в ту сторону.

— Керри!

— Что?

Он спустил ноги с кровати.

— Керри, я совершил идиотский, безумный поступок. Все эти месяцы я вижу, как ты, вся издерганная, ищешь спасения в грезах, и мальчики не спят, и ветер, и Марс кругом, высохшие моря и все такое, и... Он замаялся и глотнул. — Ты должна понять мой поступок, понять, почему я так сделал. Все деньги, какие были у нас в банке еще месяц назад, все, что мы накопили за десять лет, я истратил.

— Боб!

— Я выбросил их, Керри, честное слово, пустил деньги на ветер. Хотел сделать тебе сюрприз. Но теперь, сегодня ночью, ты в таком настроении, и эти проклятые чемоданы у стены, и...

— Боб, — сказала она, поворачиваясь. — Неужели ты хочешь сказать, мы перенесли все это, терпели Марс, откладывали деньги каждую неделю только для того, чтобы ты потратил их в несколько часов?

— Не знаю, — ответил он. — Я круглый идиот. Но ведь до утра совсем немного осталось. Встанем пораньше. И я возьму тебя с собой, покажу, что сделал. Я не собирался тебе говорить, хотел, чтобы ты сама увидела. Ну, а если окажется ни к чему, тогда... что ж... вот чемоданы, и ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Она стояла неподвижно.

— Боб, Боб... — пробормотала она.

— Не говори ничего больше, — сказал он.

— Боб, Боб... — Она медленно, точно не веря услышанному, покачала головой.

Он отвернулся и лег, она села на свою сторону кровати и не стала ложиться сразу, а еще с минуту смотрела на комод, где аккуратными стопками остались лежать ее носовые платки, и броши, и белье. За окном ветер цвета лунного сияния разворошил сонную пыль и припудрил ею воздух.

В конце концов она легла, но ничего больше не говорила, только лежала в постели бесстрастной тяжестью, высматривая сквозь длинный туннель ночи первые признаки утра.

Они поднялись с рассветом и молча заходили по комнатам своего сборного дома. Шла пантомима, она затянулась, вот-вот кто-нибудь должен был криком взорвать тишину: мать, отец, дети умывались, одевались, безмолвно ели завтрак — тосты, фруктовый сок и кофе, — и никто не глядел прямо на остальных, все следили друг за другом по отражениям на блестящей поверхности тостера, стаканов, ножей, которые совер-

шенно преображали лица, делая их до ужаса чужими в этот ранний час. Наконец они отворили бесшумную дверь, впуслав воздух, летевший с ветром над холодными бело-голубыми марсианскими морями, где колыхались и рассыпались, создавая недолговечные узоры, песчаные волны, и они вышли под неприветливое, холодно глядящее на них небо и направились в поселок — или это просто кинофильм, и пейзажи плывут мимо на стоящем перед ними огромном пустом экране?

— В какую часть города мы идем? — спросила Керри.

— На космодром, в камеру хранения, — ответил он. — Но сперва мне нужно вам кое-что сказать.

Мальчики замедлили шаг и пошли с родителями, чуть позади них, слушая. Отец смотрел вперед, и ни разу за все то время, что он говорил, не оглянулся ни на жену, ни на сыновей, чтобы проверить, как они воспринимают его слова.

— Я верю в Марс, — тихо начал он. — Да, верю, что в один прекрасный день он станет нашим. Мы укротим его и сделаем обитаемым. Нам не придется уносить отсюда ноги. Год назад, вскоре после того, как мы сюда прилетели, мне пришла в голову одна мысль. «Почему мы очутились здесь?» — спросил я себя. Потому что иначе быть не могло. Это то самое, что каждый год происходит с лососем. Лосось не знает, почему он направляется в определенное место, и все-таки идет. Вверх по рекам, которых не может помнить, против течения, навстречу водопадам, пока не придет туда, где даст начало новой жизни и погибнет. И снова тот же круговорот. Назовите это наследственной памятью, назовите инстинктом или никак не назовите, все равно это есть. И вот мы здесь.

Они шли по новому шоссе, окруженные безмолвным утром, и сверху на них смотрело огромное небо, а под ногами шелестел белый, как пена, песок.

— Да, мы здесь. Куда потом, с Марса? На Юпитер, Нептун, Плутон и все дальше? Совершенно верно. И *все дальше!* Почему? Когда-нибудь Солнце взорвется, точно старая топка. Бум — и нет Земли! Но Марс, возможно, уцелеет, а если и он пострадает, возможно уцелеет Плутон, если же и Плутон будет поражен, то где будем *мы*, я подразумеваю сыновей наших сыновей — где?

Он пристально смотрел на безупречную раковину темно-фиолетового неба.

— А мы будем в еще каком-нибудь мире, под тем или иным номером — скажем, планета 6 звездной системы 97, или планета 2 галактики 99! Так далеко отсюда, что только в кошмаре постичь можно! Мы улетим, понимаете, вовремя уберемся и будем в безопасности! И я подумал: так вот в чем дело! Во почему мы на Марсе, *вот* почему человек запускает свои ракеты.

— Воб...

— Дай мне кончить. Нет, не ради денег. И не в погоне за новыми пейзажами. Это все обман, хоть люди именно так и говорят, мнимые причины, которыми человек морочит себе голову. Мол, ради богатства, славы... Чтобы повеселиться, мол, развлечься. Но все это время внутри человека что-то тикает — как тикает внутри лосося или кита, как тикает в самом мельчайшем микробе, какой ни возьми. И знаете, что говорят эти часики, которые тикают во всех живых существах? Они говорят: уходи, рассыпайся во все стороны, двигайся, плыви дальше. Освой столько миров, построй столько городов, чтобы *ничто* никогда не могло истребить человечество. *Понимаешь*, Керри? Дело не в том, что мы с тобой прибыли на Марс — это весь род человеческий прибыл, его существование зависит

от того, что успеем сделать *мы* за нашу жизнь. Это же такая великая штука, что прямо хоть смейся, до того мне страшно.

Он чувствовал, что мальчики не отстают, идут следом за ним, чувствовал, что Керри рядом, ему хотелось видеть ее лицо, проверить ее реакцию, но он не стал смотреть.

— Это же в точности, как в моем детстве было: мы с отцом шли по полям, разбрасывая семена руками, когда сеялка ломалась, а у нас не было денег ее починить. Так или иначе, нужно было сеять, ради будущего урожая. Господи, Керри, ты *помнишь* эти статьи в воскресных приложениях: «ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗНЕТ ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ!» Мальчишкой я однажды прочел такую статью — и в рев. Мать спрашивает, что это я реву. Мне жаль, говорю, всех этих бедных людей, которых такая беда ждет. А ты за них не переживай, ответила мать. Но понимаешь, Керри, в этом-то все и дело: мы *переживаем* за них. Иначе мы бы не были здесь. Человек с большой буквы должен жить. Я не вижу ничего на свете важнее Человека с большой буквы. Разумеется, я подхожу пристрастно, ведь сам из этого племени. Но если вообще существует способ добиться бессмертия, о котором люди всегда толкуют, то вот он: рассыпаться во все стороны, засеять вселенную. Тогда будет урожай, который обеспечит от любых неурожаев в дальнейшем. Пусть на Земле будет голод или ржа. У тебя вырастет новая пшеница на Венере или где там еще человек может очутиться через тысячу лет; я просто одержим этой мыслью, Керри, одержим. Когда все это вдруг дошло до меня, мне хотелось обнять всех людей, тебя, мальчиков и объяснить им. Но, понимаешь, я чувствовал, что в этом нет необходимости. Чувствовал: придет день или ночь, когда ты сама услышишь, как это тикает в тебе, и прозреешь, и никакие разговоры не нужны. Это большая тема, Керри, я знаю, и большие мысли для человека ростом неполных пять футов пять дюймов, но ведь это все верно, кланусы!

Они шли по пустынным городским улицам, слыша эхо своих шагов.

— А нынче утром? — спросила Керри.

— Я как раз дошел до сегодняшнего утра, — сказал он. — Часть *меня* тоже рвется домой. Но другая часть говорит: если мы вернемся, все пропало. И я подумал: что нас больше всего терзает? Какие-то предметы, которые были у нас раньше. Вещи мальчиков, твои, мои. И я подумал: если для того, чтобы положить начало новому, нужны какие-то старые вещи, то видит бог, я их использую, эти старые вещи. Помню, в одной книге по истории написано, что тысячу лет назад в полный коровий рог клали уголек и раздували его целый день, и так переносили огонь с места на место, и вечером разжигали костер искрами утреннего костра. Все время новый костер, но всегда с частицей старого. И я все взвесил и сопоставил. Стоит ли Старое всех наших денег? — спросил я. Нет! То, что мы создавали, чему служило это Старое, — вот что ценно. Так, а Новое — стоит ли оно *всех* наших денег? Чувствуешь ли ты, что делаешь вклад в будущее, в какой-то из дней следующей недели? Да! — сказал я себе. Если я могу одолеть то, что зовет нас обратно на Землю, я ради этого готов облить свои деньги керосином и поднести спичку!

Керри и оба мальчика не двигались. Они застыли на месте посреди улицы, глядя на него так, словно он был ураганом, который налетел на них и чуть не оторвал от земли, а теперь затихал.

— Утром пришла транспортная ракета, — тихо сказал он. — С ней прибыл наш багаж. Пойдем, получим его.

Они медленно поднялись по трем ступеням камеры хранения и пошли по гулкому полу к складу, который только что распахнул свои двери, начиная рабочий день.

— Расскажи нам снова про лосося, — сказал один из сыновей.

Теплое утро было в разгаре, когда они выехали из города на грузовой машине, кузов которой заполнили большие корзины и ящики, тюки и пакеты, длинные, высокие, короткие, плоские, все нумерованные, с аккуратно выведенным адресом: Роберту Прентису, Нью-Тоledo, Марс.

Они остановили грузовик возле сборного дома, и мальчики выскочили из машины и помогли сойти маме. Боб еще сидел за рулем, потом медленно вылез из кабины, обошел машину сзади и заглянул в кузов, где громоздились вещи.

К полудню все ящики, кроме одного, были вскрыты, их содержимое разложено и расставлено на дне высохшего моря. Прентисы устали.

— Керри...

Он повел ее вверх по ступенькам старого крыльца: они тоже стояли тут, на окраине города, извлеченные из ящика.

— Прислушайся, Керри.

Ступеньки кряхтели и скрипели под ногами.

— Что они говорят, скажи, что они говорят?

Она стояла на старых-престарых деревянных ступеньках, думая о своем и не могла ему ответить.

Он взмахнул рукой.

— Здесь — терраса, там — гостиная, столовая, кухня, три спальни. Кое-что обновим, кое-что с Земли заберем. Пока мы получили только крыльцо, часть гостиной мебели и старую кровать.

— Такие деньги, Боб!

Он повернулся, улыбаясь.

— Ты ведь не сердись, ну, погляди на меня! Ты не сердись. Мы все постепенно заберем, в следующем году, через пять лет! Хрустальные вазы, армянский ковер, который твоя мать подарила нам в 1961 году! Пусть Солнце взрывается!

Они посмотрели на ящики с номерами и надписями: «Качели с террасы», «Кресло-качалка с террасы», «Хрустальная люстра»...

— Я сам буду дуть на нее, чтобы звенела.

Они установили на верху крыльца наружную дверь с окошками из цветного стекла, и Керри поглядела в земляничное оконце.

— Что ты видишь?

Он и так знал, что она видит, потому что сам смотрел через то же стекло. Марс: холодное небо согрето, высохшие моря зарделись алым пламенем, радуя душу и глаз светом неугасающей зари. Пригнувшись, глядя через стекло, он услышал собственный голос:

— Через год город дотянется сюда. Здесь пройдет тенистая улица, у тебя будет твоя терраса, будут друзья. И тогда тебе уж не будет так сильно не хватать всего этого. Ты увидишь, как отсюда, с маленького, близкого и привычного тебе клочка, все пойдет и пойдет разрастаться, и весь Марс переменится, станет близким, словно ты его знала всю жизнь.

Он сбежал вниз по ступенькам к последнему, еще не вскрытому, обшито мешковиной ящику. Своим перочинным ножом он вспорол мешковину.

— Угадай! — сказал он.

— Моя кухонная плита? Моя печь?



— Ничего подобного.— Он очень ласково улыбался.— Спой мне песенку,— попросил он.

— Боб, ты окончательно рехнулся.

— Спой мне песенку, чтобы стоила всех денег, которые у нас были в банке и которых теперь нет, и черт с ними! — сказал он.

— Я только одну знаю: «Женевьева, моя Женевьева!»

— Спой ее,— сказал он.

Она никак не могла заставить себя начать. Он видел, как шевелются в попытке ее губы, но не слышал ни звука.

Тогда он решительно рванул мешковину, сунул руку в ящик, что-то поискал в полной тишине, напевая себе под нос, дернул локтем, и вдруг в воздухе затрепетал звонкий, чистый аккорд.

— Вот так,— сказал он.— Ну-ка, с самого начала. Все вместе! Слушайте первую ноту.

## Вышивание

В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и казалось, это кружится рой серебристых мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились. Их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное, тревожно бьющееся сердце.

— Который час?

— Без десяти пять.

— Надо уже идти лущить горох для обеда.

— Но...— возразила одна из них.

— Верно, я совсем забыла. Надо же...

Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютом комнату в притихшую кухню. Там на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изящных упругих стручков. И ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости.

— Иди, лущи, если тебе от этого будет легче на душе.— сказал вторая женщина.

— Нет,— ответила первая,— не хочу. Никакого желания.

Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и луг. Иголка то появлялась, то снова исчезала.

Вторая женщина делала самый изысканный, тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом — целая картина рождалась под ее руками, чудесный миниатюрный ландшафт, подлинный шедевр.

— Иногда думается, в руках все спасенье,— сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались.

— А может быть,— заговорила первая женщина,— душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками.

Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают.

Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки.

— Да,— согласилась третья женщина,— когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица.

Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей открыто и затворено, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными — в соответствии с характером и привычкой — руками. Оглядываясь на прошлое, они видели словно воплощенную мечту чародея: вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги. И единственным звуком был шелест порхающих розовых рук, все остальное было, как немой сон.

— Не будет обеда, который надо приготовить, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра,— сказала третья женщина.

— Не будет окон, которые надо открывать и закрывать.

— Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима.

— Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты.

Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бегали их пальцы.

— От слез все равно не легче,— заговорила наконец первая женщина и поднесла большой палец сначала к одному глазу, потом к другому. Она поглядела на палец — мокрый.

— Что же я натворила! — укоризненно воскликнула вторая женщина.

Ее подружки оторвались от работы. Вторая женщина показала свое вышивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно: вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг, вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь, к вышитому розовому дому — и только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так.

— Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор,— сказала вторая женщина.

— Какая досада.— Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном.

Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами. Стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать.

— Что ты делаешь? — спросили подружки.

Они наклонились, чтобы посмотреть.

Мужчина исчез совершенно. Она убрала его.

Они молча продолжали вышивать.

— Который час? — спросила одна.

— Без пяти пять.

— А это назначено на пять часов ровно?

— Да.

— И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?

— Не знают.

— Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?

— Она вдвое мощней предыдущей. Нет, в десять раз, если не в тысячу.

— Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить.

Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы.

— А теперь который час?

— Без одной минуты пять.

Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок.

Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь.

— Мы ничего не услышим?

— Говорят, нет.

— Может быть, мы просто дуры. Может быть, мы и после пяти будем продолжать по-старому лущить горох, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины....

— Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта!

Они неуверенно улыбнулись друг другу.

— Пять часов.

В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно летали. Лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирень и траву, деревья и дома и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание.

Прошло тридцать секунд.

Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее.

— Пожалуй, стоит все-таки налущить гороха к обеду, — сказала она. — Я....

Но она не успела даже поднять головы. Уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем. И она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе; женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках.

Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно, за ним исчезла дорожка, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении, с иголки пополз по пальцам, по рукам, лизнул тело и принялся распарывать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и наконец добрался до ее сердца — вышитой пламенем нежной красной розы; и он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим....

## Улыбка

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огня. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. — Просто подумал, чудно это — ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покотился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.

— Говорят, она *улыбается*, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брежут. А может, трехтысячный! Или пяти тысячный! Почему мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четыре латунных столбика бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин, дороги от бомбежек — словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утешки, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливичики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!...

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло — стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был, прелесть! Тррах!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том?

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!

— А я так готов ее терпеть, — сказал один из очереди. — Не все конечно, но были и в ней свои хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.

— Э,— упорствовал один из очереди,— не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого,— сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а , так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед — шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его бо-  
сье пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того,— уже напоследок объяснил Григсби,— чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну, плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но,— медленно произнес Том,— она же красивая!

— Ладно, я плюну за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая,— повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал, как пень! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, *«Монна Лиза»*... Точно: *«Монна Лиза»*.

— Слушайте объявление,— сказал верховой.— Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, подавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой вистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, ты что же! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит — спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец. — погоди, вот я тебе утром всплую...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок покрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

## Золотые яблоки солнца

— Юг, — сказал командир корабля.

— Но, — возразила команда, — здесь, в космосе, нет никаких стран света!

— Когда летишь навстречу солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. — Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг.

Медленно кивнул и повторил:

— Юг.

Ракета называлась «Копа де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две ты-

сячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Иетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стейнбек. «Кувшин золота»? Стефенс. А помните — горшок золота у подножья радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце! Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем,— подумал командир,— падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...»

— Тысяча двести градусов Цельсия.

Под снегом стонали моторы; охлаждающие жидкости со скоростью пятнадцать тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!



Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы,— думал он: — человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Некогда. Времени нет. Пусть лежит.— Как тяжело поворачивается язык...— Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летящая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иглолочки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что на миг становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! — будто пробили куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!

Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх... Ори, сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву... вихри пара... ничто!

— Командир?!

Космар развевался.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку, — только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-черт!

Он ударил по насосу отверткой.

— Господи!..

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми,— думал он,— мы привыкли умирать не так стремительно,— минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас сожрать!»

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад,— быстро подумал командир, направляя чашу,— обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и защищая ее телом от дождя, торжествуя ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе,— думал командир,— тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнувшего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны; атомная бомба немошна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово: прилететь, осалить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами — назовите, как хотите,— которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знание о нашей вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно,— прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...

— Бог ведает,— ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Заккрыть чашу крышкой!.. Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотная закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк.

— Готово.

Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад.

Порой мне Солнце кажется горящим деревом...  
Его плоды златые реют в жарком воздухе,  
Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,  
Источенные родом человеческим.  
И взор людей исполнен преклоненья,—  
Им Солнце кажется неопалимым деревом.

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно,— думал он,— и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так,— вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами,— так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

— После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь — куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой,— каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекачивается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в космосе есть только один курс,— сказал он.

Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север,— буркнул командир.— Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

## Космонавт

Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царила тишина.

— Ты ведь сможешь мне удержать его дома на этот раз? — спросила она.

— Постараюсь,— ответил я.

— Прошу тебя.— По ее лицу бежали беспокойные блики.— На этот раз мы его не отпустим.

— Ладно,— ответил я, подумав.— Но только ни к чему это, ничего не выйдет.

Она повернулась; светлячки, чертя свои орбиты, летали над ней, подобно блуждающему созвездию, и светили ей во тьме. Я услышал, как она тихо говорит:

— Во всяком случае, попробуем.

Другие светлячки проводили меня в мою комнату. Я лег, в кровати замкнулась цепь, и тотчас светлячки погасли.

Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Кровать, тихо напевая, стала меня укачивать. Я нажал выключатель; пение и качание прекратилось. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать.

Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали, бодрствуя, и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь, или видели, как стены на миг озаряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит *его* ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиопhone:

— Ты почувствовал?

И я отвечал:

— Да-да, это он.

Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: «Сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас подписывает бумаги, сейчас он на вертолете, пролетает над рекой, над холмами, сейчас сажает

вертолет в нашем маленьком аэропорту Грин Вилледж...» Вот уже половина ночи прошла, а мы с матерью, каждый в своей неуютной кровати, все слушаем, слушаем. «Сейчас идет по Белл Стрит. Он всегда идет пешком... не берет машину... сейчас проходит парк, угол Оукхерст, и сейчас...»

...Я поднял голову с подушки. На улице, все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому... вверх по ступенькам террасы... И мы оба, мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяина, открывается наружная дверь, что-то громко говорит, приветствуя, и снова затворяется.

Три часа спустя я тихонько, затаив дыхание, повернул блестящую ручку их двери, прокрался в безбрежной, как космос между планетами тьме и протянул руку за маленьким черным ящиком, что стоял у кровати родителей, в ногах. Есть! И я бесшумно побегал к себе, думая: «Он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал».

И вот из открытого ящичка струится черный костюм космонавта — будто черная туманность с редкими стежками далеких звезд. Я мял в горячих руках темную ткань и вдыхал ароматы планет: Марса — запах железа, Венеры — благоухание зеленого плюща, Меркурия — огонь и сера; я обонял молочную луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее. Вскоре в реторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа.

Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон; а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь тубус микроскопа я уходил в полет — миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения...

На рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнес ящичек на место, в спальню родителей.

Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном. Это приехали из химчистки за костюмом. «Хорошо, что я не стал ждать», — подумал я. Ведь через час костюм вернется обезличенный, очищенный от всех следов путешествия.

И я опять уснул, а в кармашке пижамы, как раз над бьющимся сердцем, лежал пузырек с магической пылью.

Когда я спустился, отец сидел за столом, завтракая.

— Как спалось, Дуг? — приветствовал он меня, будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос.

— Хорошо, — ответил я.

— Гренки?

Он нажал кнопку, и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба — румяные, золотистые.

Помню, как отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал чего-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, уминая, привязывая, срезая, обрезая, смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки; он ни разу не взглянул на небо, или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о буйно-голубом небе, он оглядывался влево и вправо, на маму или на

меня, и ласково подмигивал, после чего продолжал работать, глядя в землю, все время в землю, и небо видело только его согнутую спину.

Вечером мы сидели на механических качелях на террасе, они нас качали и обдували ветром, и пели нам песни. Было лето, луна, был лимонад, мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая переворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погода он, как всегда, спросил:

— Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, Дуг?

Я ничего не ответил, но мать сказала:

— Он гуляет, когда тебя нет дома.

Отец посмотрел на меня, потом, впервые за этот день, на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды.

Первый день и первый вечер после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его рьяно работающим в саду, лицо будто срослось с землей. На второй день он уже чаще посматривал на звезды. Днем мать не так боялась неба; зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды! Иной раз мне так и казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно...

На третий вечер, бывало, мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе, и я слышал, как мама его зовет — так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, включал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я, глянув вниз, обнаруживал у его ног черный ящичек; мама еще спала.

— Ну, Дуг, до свидания, — говорил он, пожимая мне руку.

— Через три месяца?

— Точно.

И он шел по улице, не садился ни на вертолет, ни на такси, ни на автобус, а просто шел пешком, неся летный костюм неприметно, в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом. Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба.

Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды.

— Пойдем на телевизионный карнавал, — предложил я.

— Отлично, — сказал отец.

Мама улыбнулась мне.

И мы поспешили на вертолете в город и повели отца мимо бесчисленных экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше нигде не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, а я все думал: «Мой отец летает на Сатурн, на Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с Каллисто, обломки черных метеоритов, голубой песок. А мне приходится выменивать у них образцы для своей коллекции — песок с Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить».

Случалось, — я помнил, — он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала.

Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул, не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался:

— Скажи, как там, в космосе?

Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно.

Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ, потом пожал плечами.

— Там... это лучше всего самого лучшего в жизни.— Он осекся.— Да нет, ничего особенного. Рутинка. Тебе бы не понравилось.— Он испытующе посмотрел на меня.

— Но ты всякий раз летишь опять.

— Привычка.

— И куда же ты полетишь теперь?

— Еще не решил. Надо подумать.

Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало, он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения вы могли видеть, как он выбирает звезду.

— Пошли,— сказала мама,— пора домой.

Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделать. Я продолжал упрашивать отца, хотя он всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал:

— Ну, ладно.

Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза.

— Прости меня,— сказал я.

— Ты мне ни чуточки не помогаешь,— произнесла она.— Ни чуточки.

Мгновение спустя в воздушной шахте послышался шорох.

— Вот и я,— тихо сказал отец.

Мы увидели его в форме.

Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампасы до каблуков черных ботинок. Казалось, он весь — тело, руки, ноги — вырезан из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки.

Костюм облегал тело, как перчатка облегает длинную гибкую руку, от него пахло прохладным воздухом, металлом, космосом. От него пахло огнем и временем.

Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь.

— Повернись,— сказала мама.

Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко.

Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила. Вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи — дескать, не худо бы вымыть, — или своей бессонницы. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая.

— Но ведь эту неделю ночи безлунные.

— А звезды? — ответила она.

Я пошел в магазины и купил ей новые жалюзи, темнее, зеленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук...

Как-то раз я собрался подстричь газон.

— Не надо.— Мама стояла в дверях.— Убери на место косилку.

Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой.

Она вообще не разрешала мне ничего делать — скажем, чинить машину, которая готовила завтрак, или механического чтеца. Она все ко-

пила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит или паяет, улыбаясь, и мать счастливо улыбается, глядя на него.

Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров.

Однажды он сказал мне:

— Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка.

Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пелену, как зверь, который засыпает. Она говорила «да» там, где надо, улыбалась — все с опозданием на полсекунды.

— Слово я для нее не существую, — сказал отец.

А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал, они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамины волосы развевались, как у девочки; она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные, торты и печенья, жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой. А к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял растерянно, глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил.

...Отец медленно повернулся, показывая костюм.

— Повернись еще, — сказала мама.

На следующее утро отец примчался домой с целой кипой билетов. Розовые билеты на Калифорнийскую ракету, голубые на Мексиканскую авиалинию.

— Живей! — воскликнул он. — Купим дорожную одежду, потом ее сожжем. Вот — в полдень вылетаем в Лос-Анжелос, в два часа — вертолетом до Санта-Барбары, в девять — самолетом до Энсенады, и там заночуем!

И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по тихоокеанскому побережью, пока не осели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, или пел, или жадно рассматривал все вокруг, цепляясь за впечатления, словно мир был большой центрифугой, которая вращается так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать.

В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал со мной рядом на песке, под жарким солнцем.

— Ух, — вздохнул он, — благодать...

Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце.

— Вот чего недостает, — сказал он.

Он, конечно, хотел сказать «на ракете». Но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер? Или голубое небо? Или ласковое солнце? Или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном?

— Что ж, потолкуем, — произнес он наконец.

И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить — три часа подряд, как это было у нас заведено. До самого вечера мы будем, нежась на солнце, вполголоса болтать о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли плаваю.



Отец кивал, слушая меня, улыбался, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили. Не о ракете и не о космосе — мы говорили о Мексике, где однажды путешествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой, теплой Мексики: дело было в полдень, сотни бабочек облепили наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крылышками, трепеща в судорогах — красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, что мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос, чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать. И я вспоминал, как он слушал стрёкот машин, когда сам подстригает газон вместо того, чтобы включить программное управление, видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном.

— Дуг,— сказал он часов около пяти, мы только что подобрали полотенца и пошли вдоль прибоя к гостинице,— обещай мне одну вещь.

— Что?

— Никогда не будь космонавтом.

Я остановился.

— Я серьезно,— продолжал он.— Потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь — туда. Так что лучше и не начинать. Чтобы тебя не захватило.

— Но...

— Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю — останусь насовсем, никогда больше не полечу». И все-таки лечу опять, и наверно всегда будет так.

— Я уже давно хочу стать космонавтом,— сказал я.

Он не слышал моих слов.

— Я *пытаюсь* заставить себя остаться. Когда я в субботу пришел домой, то твердо решил: сделаю все, чтобы заставить себя *остаться*.

Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Ну, конечно: все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственно реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью: стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь Ориона.

— Обещай, что не станешь таким, как я,— попросил он.

Я помедлил.

— Хорошо,— ответил я.

Он пожал мне руку.

— Умница,— сказал он.

Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой, возилась с тестом и корицей, грела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами — брусничный соус, горошек, пирог с тыквой.

— Разве сегодня праздник? — удивился отец.

— В День Благодарения тебя не будет дома.

— Вот как.

Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с блюд и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое лицо. И каждый раз говорил: «А-ах...» Потом он посмотрел на комнату, на свои руки. Обвел

взглядом картины на стенах, стулья, стол, меня, маму. Наконец, прокашлялся; я понял, что он решил.

— Лилли!

— Да? — Мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный капкан, волшебный омут из подливки, в котором — она надеялась — ее муж, подобно доисторическому зверю в асфальтовом пруду, прочно увязнет и останется навсегда, надежно огражденный птичьими косточками. В ее глазах играли искорки.

— Лилли, — сказал отец.

«Ну, ну, — нетерпеливо думал я, — говори же скорее, скажи, что ты на этот раз останешься дома, навсегда, и никогда больше не улетишь, скажи!»

В этот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно.

Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке.

Целую минуту отец смотрел на Марс. Потом, не глядя, протянул руку в мою сторону.

— Можно мне горошка? — попросил он.

— Простите, — сказала мать, — я совсем забыла хлеб. — И она убежала на кухню.

— Хлеб на столе, — крикнул я ей вслед.

Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня.

В ту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, овеваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу; он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалось по луне.

Я вышел и сел рядом.

Мы качались вместе.

Наконец я спросил:

— А в космосе есть смертельные опасности?

— Миллион.

— Назови какие-нибудь.

— Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух. Или тебя захватит кометой. Ушиб. Удушье. Взрыв. Центробежные силы. Чрезмерное ускорение. Недостаточное ускорение. Жара, холод, Солнце, Луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация...

— Погибших сжигают?

— Поди, найди их.

— А куда же девается человек?

— Улетает за миллиарды миль, такие ракеты называют блуждающими гробами. Ты становишься метеором или планетоидом, который вечно блуждает в космосе.

Я промолчал.

— Зато, — сказал он погодя, — в космосе смерть быстрая. Раз — и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает.

Мы пошли спать.

Настало утро.

Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка.

— Итак, решено, — сказал он. — Следующий раз, как вернусь, — уж навсегда, больше никуда не полечу.

— Отец! — воскликнул я.

— Скажи об этом маме, когда она встанет.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— До свидания, через три месяца.

И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, насвистывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздух, уходя в прозрачные утренние тени...

Несколько часов спустя я завел разговор с мамой, мне хотелось кое-что выяснить.

— Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его, — сказал я.

Она все мне объяснила.

— Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: «Он мертв. Или все равно что мертв. Думай о нем, как о мертвом». И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если воспоминание или сон прекратятся, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом...

— Но ведь бывает...

— Бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги и обращаюсь с ним, как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад и я никогда его не увижу. Тогда не так больно.

— Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется навсегда?

Она медленно покачала головой.

— Нет, он умер. Я в этом уверена.

— Он вернется живой, — сказал я.

— Десять лет назад, — продолжала мать, — я думала: что если он погибнет на Венере? Тогда мы больше не сможем смотреть на Венеру. А если на Марсе? Мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне? В те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем ненавидеть звездное небо.

— Еще бы, — сказал я.

Сообщение пришло на следующий день.

Посыльный вручил его мне, и я прочел его, стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман.

— Мам, — заговорил я.

— Не говори мне того, что я и без тебя знаю, — сказала она.

Она не плакала.

Нет, его убил не Марс и не Венера, не Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда в вечернем небе загорится Юпитер, или Сатурн, или Марс.

Дело обстояло иначе.

Его корабль упал на Солнце.

Солнце — огромное, пламенное, беспощадное, которое каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь.

После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полночь, ели ленч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы уходили в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете.

Потом мы еще долго выходили гулять только в дождливые дни, когда не было солнца.

## Дядюшка Эйнар

— Да у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простынь. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью. — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать на карачках. Он подпрыгнул. Огромные, зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дядюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная трепещущая петля простыней забила в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые она заранее расстелила в ряд.

— Спасибо! — крикнула она.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того, что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им в общем-то нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья...

Но ненависти он к своим крыльям не испытывал. Напротив! В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого самое дорогое время! День придет, опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью! Ночью как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллонтауне, штат Иллинойс, к себе домой на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными лунной холмами за Меллонтауном. Вдруг, как гром среди ясного неба...

Высоковольтная передача.

Точно утка в силках! И скворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволоочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетит.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену.

В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова скорее всего сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилле Вексли несколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать, да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара. Он

крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя все выложил, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и подлечу его. Все равно, с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он сказал спасибо, но нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллнтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдете на ферму, там есть лекарства и притирания и.. «Ой! какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли, — сказала она. — Как же это случилось?

— Понимаете... — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров. Смеркалось — шесть часов вечера, — а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего, — сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врзаясь в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла: крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, — все бесповоротно выжег этот удар по лицу, голубое, жгучее электрическое шипение...

— Как?.. — тихо простонал он. — Как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О,— прошептала она, глядя на свои руки,— что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки глухо гукали оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Брунилой, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог тайнству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Брунилой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Брунилу на руки и взлетел с ней в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и приметил слабые вспышки, треск.

— Зарница,— решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой.

Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может сказать о себе так? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда да разбитые лампы были ему что нож острый, он держался от стекла подальше. И часы сна переменились, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем,— сказала она однажды.— Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные и красивые, как твои.

— Ты уже давно вышла,— ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась.

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва возникло опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Вздор, я только рада буду! — сказала она.— Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они, как грибы; не прошло и слова

скольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой. Не потому что ему так хочется, а потому что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему. Сидит уныло, пригорюнившись — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежища в его прозрачной тени. Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел? Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут! А теперь? Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорей! Пусть его сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных даях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспарить, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали. А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай бог увидят...

Прозябание в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змееву, какую же еще! — дружно откликнулись дети.

Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки. Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из тряпичных и шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда!



Он долго глядел на них. Он вздохнул.

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар.

Он расправил крылья, напруг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, нашел! Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому, — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочках, разругавшийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь! Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь *каждый* день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечеву в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпеливыми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, направлял... И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеленого змея, как он взмывал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?!

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег, и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокошущий змей в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

## Нескончаемый дождь

Дождь продолжался — жестокий нескончаемый дождь, нудный, изнурительный дождь; ситничек, косохлест, ливень, слепящий глаза, хлопающий в сапогах; дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли и секли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщил руки людей наподобие обезьяньих лап; он сыпался твердыми стеклянными каплями: и он лил, лил, лил...

— Сколько еще, лейтенант?

— Не знаю. Миля. Десять миль, тысяча.  
— Вы не знаете точно?  
— Как я могу знать точно?  
— Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до Солнечного Купола, было бы легче.  
— Еще час, самое большее — два.  
— Вы в самом деле так думаете, лейтенант?  
— Конечно.  
— Или лжете, чтобы нас подбодрить?  
— Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит, поговорили!  
Двое сидели рядом. Позади них — еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами.

Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выцвела от дождя; выцвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени.

Лейтенант чувствовал, как по щекам бегут струи воды.

— Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди?

— Не острите, — сказал один из второй двойки. — На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь десять лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень.

— Все равно, что под водой жить. — Лейтенант встал и поправил свое оружие. — Что ж, пошли. Мы найдем Солнечный Купол.

— Или не найдем, — заметил циник.

— Еще час или около этого.

— Вы меня обманываете, лейтенант.

— Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел.

Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело поглядывая на свои компасы. Кругом — никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа и где-то далеко позади — ракета, на которой, они летели и вместе с которой упали. Ракета, в которой лежали два их товарища — мертвые, омываемые дождем.

Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река — широкая, плоская, бурая. Она текла в Великое море. Дождевые капли выбили на ее поверхности миллиарды кратеров.

— Давайте, Симмонс.

Лейтенант кивнул и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем.

Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на работающих руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам.

— Я не спал эту ночь, — сказал он.

— А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей *спали*? Тридцать ночей — что тридцать дней! Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь... Все бы отдал за шляпу. Любую, лишь бы перестало стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена, так и саднит.

— Черт меня занес в этот Китай, — сказал другой.

— Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем.

— Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на тебя падает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабом побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать, мы на границе помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии, запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый таковой... Слово карточек. Я не выдержу долго.

— Эх, где Солнечный Купол! Кто их придумал, тот знал свое дело.

Плывя через реку, они думали о Солнечном Куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. Пятнадцать футов в высоту, сто футов в поперечнике; тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре Солнечного Купола, само собой, — солнце. Небольшой свободно парящий шар желтого пламени под самым сводом, и ты можешь его видеть отовсюду, сидя с книгой или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором плавают сливки. Оно ждет их, золотистое солнце, на вид такое же, как земное; ласковое, немеркнувшее; и на то время, что ты празднично проводишь в Солнечном Куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры.

Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что скрипя зубами налегали на весла. Они были белые, как грибы, — как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескончаемым дождем? Белые-белые заросли; бледные, как плавленый сыр, листья; стволы, будто ножки гигантских поганок; почва, словно из влажного камамбера... Впрочем, не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море.

— Есть!

Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, попытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа, над зажигалкой, затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ.

Они пошли дальше.

— Стой, минутку, — сказал лейтенант. — Мне показалось, я что-то увидел.

— Солнечный Купол?

— Я не уверен. Дождь не дал разглядеть.

Симмонс побежал вперед:

— Солнечный Купол!

— Назад, Симмонс!

— Солнечный Купол!

Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку.

Они догнали его на прогалине и стали, как вкопанные, глядя на него и его находку.

— Ракета...

Она лежала там, где они ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали свой долгий путь... Среди обломков лежали двое погибших, изо рта у них росла зеленоватая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела, но дождь сбил лепестки, и плесень увяла.

— Как же это случилось?

— Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело.

— Верно.

— Что же делать теперь?

— Идти снова.

— Черт дери, мы топтались на месте!

— Ладно, Симмонс, постарайся взять себя в руки.

— В руки, в руки! Этот дождь сведет меня с ума!

— У нас хватит еще продуктов дня на два, если быть экономными.

Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде; струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, с пальцев, колен. Они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны; из каждой поры сочилась вода.

Вдруг издали донесся грозный рев.

Из пелены дождя вынырнуло чудовище.

Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратно. Каждый его шаг был как удар с плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могу-чие вихри озона заполнили влажный воздух, дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной — с милю, оно ощупывало землю, словно слепой исполин. Иногда, на короткое мгновение, оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались тысячи хлыстов, которые беспощадно жалили заросли.

— Электрическая буря, — сказал один из четверки. — Она вывела из строя компасы. Теперь идет на нас.

— Ложись! — приказал лейтенант.

— Бегите! — заорал Симмонс.

— Не дурите. Ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись. Ложитесь не ближе пятидесяти футов от ракеты. Глядишь, потратит на нее весь свой заряд, а нас минует. Живей!

Они шлепнулись наземь.

— Идет? — почти сразу послышался вопрос.

— Идет.

— Приблизилась?

— Осталось двести ярдов.

— А сейчас?

— Вот она!

Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел-молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю.

— А-а! — Один из космонавтов вскочил на ноги.

— Ложись, идиот! — крикнул лейтенант.

— А-а!

Еще десяток молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз сотню электрических стрел.

Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку-ло-

вушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. Три товарища слышали запах человека, обращенного в золу. Лейтенант спрятал лицо.

— Не поднимать головы! — распорядился он.

Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит.

Озарив лес еще десятком молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда утомонится отчаянно колотящееся сердце.

Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат — хоронить или предоставить это быстро поднимающейся поросли.

Тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей. Будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня, когда лишь тонкая пленка воска осталась на обугленном скелете. Только зубы не почернели, и они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке.

— Зачем он вскочил...

Они сказали это почти одновременно.

На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного...

Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали.

Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки рождались у них на глазах, а старые меняли русла: реки цвета ртuti, реки цвета серебра и молока.

Они вышли к морю.

Великое море... На Венере был всего один материк. Он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину, окруженный со всех сторон Великим Морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег.

— Нам туда. — Лейтенант кивнул на юг. — Я уверен, что в той стороне находятся два Солнечных Купола.

— Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?

— Всего их на острове сто двадцать штук, верно?

— К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть. Год назад в конгрессе на Земле предложили построить еще два-три десятка, да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя.

Они зашагали на юг.

Лейтенант, Симмонс и третий космонавт, Пикар, шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще; под ливнем, который хлестал и лил, и не переставая барабанил по суше, по морю и по идущим людям.

Симмонс первый заметил его.

— Вот он!

— Что там?

— Солнечный Купол!

Лейтенант моргнул, сдерживая с век влагу, и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель.

Поодаль, у моря, на краю леса, что-то желтело. Да, это он — Солнечный Купол!

Люди улыбались друг другу.

— Похоже, вы были правы, лейтенант.

— Удача!

— От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый? Последний будет сукин сын! — Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но не ослабляли скорость.

— Вот когда я кофе напьюсь, — пропыхтел, улыбаясь, Симмонс. — А булочки с изюмом — это же обедение! А потом лягу, и пусть солнышко печет... Тому, кто изобрел Солнечные Куполы, орден надо дать!

Они побежали быстрее, желтый отсвет стал ярче.

— Наверно, сколько людей тут помешалось, пока не появились убежища. А что! Очень просто. — Симмонс отрывисто выдыхал слог. — Дождь, дождь! Несколько лет назад. Встретил приятеля. Моего друга. В лесу. Бродит вокруг. Под дождем. И все твердит. «Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю...» И так далее. Без конца. Рехнулся, бедняга.

— Береги дыхание!

Они продолжали бежать.

Они смеялись на бегу и смеясь достигли двери Солнечного Купола.

Симмонс рывком распахнул дверь.

— Эй! — крикнул он. — Где булочки и кофе, подавайте их сюда!

Никто не отозвался.

Они шагнули внутрь.

В Солнечном Куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей.

Пикар тихонько рассмеялся.

— Пикар, прекратить!

— Господи, вы только посмотрите: ни солнца, ни пищи — ничего. Венески — это их рук дело! Конечно!

Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям.

— Время от времени венески выходят из моря и нападают на Солнечный Купол. Они знают, что если уничтожат Куполы, то могут нас погубить.

— Но разве наша охрана не вооружена?

— Конечно. — Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. — Но с последнего нападения прошло пять лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох.

— Где же тела?

— Венески унесли их с собой, в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ, вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно.

— Держу пари, что не осталось ни крошки еды, — усмехнулся Пикар.

Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симмонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там была кухня. Раскисшие буханки

хлеба беспорядочно валялись на полу, мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь.

— Восхитительно.— Лейтенант смотрел на дыры.— Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок.

— Без продуктов? — Симмонс фыркнул.— К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, что можно придумать,— идти до следующего Солнечного Купола. Сколько до него отсюда?

— Недалеко. Помнится, как раз тут поставили два Купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд...

— Наверно они уже приходили и ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду,— когда поступят средства от конгресса. Нет, уже лучше не ждать.

— Ладно. Съедем остатки нашего рациона и пойдем.

— Если бы только дождь перестал колотить меня по голове,— говорил Пикар.— Хоть на несколько минут. Просто, чтобы я вспомнил, что такое покой.

Он сжал голову обеими руками.

— Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипанья. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня еле от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристаёт?» Господи! — Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты.— А что я могу сделать сейчас? Кого ударить, кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое. Дождь, проклятый дождь, не дает передышки, щиплет и щиплет, только и слышно, только и видно что дождь, дождь, дождь!

— К четырем часам мы будем у следующего Солнечного Купола.

— Солнечного Купола? Такого же, как этот?! А если они все разгромлены? Что тогда? Если во всех куполах дыры, и всюду хлещет дождь?!

— Что ж, попытаем счастья.

— Мне надоело пытаться счастья. Все, что я хочу,— крыша над головой и хоть чуточку покоя. Хочу побыть один.

— Туда всего восемь часов хорошего хода.

— Не беспокойтесь, я не отстану.— Пикар рассмеялся, отводя взгляд.

— Давайте поедим.— сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним.

Они снова пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на десять километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю.

— Я должен поспать,— сказал Пикар, оседа на землю.— Четыре недели не спал. Ни минуты не уснул... Спать, здесь...

Небо стало темнее. Надвигалась ночь, а на Венере ночью царит такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги.

Лейтенант сказал:

— Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну.

Они легли, подложив руки под головы так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло.

Он не мог уснуть.

Что-то ползало по нему. Что-то словно обтягивало его живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду и щекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уж и плющ обвивает все тело плотным ковром; он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете — растения фосфоресцировали в темноте — он видел фигуры своих товарищей; будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал по его шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения; теперь дождь хлестал по спине и ногам.

Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаясь, он что-то задел. Ну, конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар и с криком заметался вокруг них.

— Постойте, Пикар!

— Прекратите! Прекратите! — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо шесть зарядов.

Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель, которые на миг застыли в воздухе, словно ошеломленные выстрелами, — пятнадцать миллиардов капель, пятнадцать миллиардов слез, пятнадцать миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жала их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий.

— Прекратите! Прекратите!

— Пикар!

Но Пикар вдруг будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо: Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх, дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки, булькали пеной в ноздрах.

— Пикар!

Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук катились прозрачные алмазы.

— Пикар! Мы уходим. Идем дальше. Пошли!

Крупные капли срывались с его ушей.

— Слышишь, Пикар!

Он точно окаменел.

— Оставьте его, — сказал Симмонс.

— Мы не можем уйти без него.

— А что же делать, нести его? — Симмонс плюнул. — Поздно: он уже не человек... Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется.

— Что?

— Неужели вы не слышали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и нос. Будет вдыхать воду.

— Не может быть!



— Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды. Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели.

— Пикар! — Лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу.

— Он ничего не чувствует, — продолжал Симмонс. — Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги.

Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела.

— Но мы не можем бросить Пикара.

— Вот все, что мы можем сделать. — Симмонс выстрелил. Пикар упал на затопленную землю.

— Спокойно, лейтенант, — сказал Симмонс. — В моем пистолете найдется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует: он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся бы. Я сократил его мученья.

Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу.

— Вы убили его.

— Да. Иначе он погубил бы нас всех. Вы видели его лицо. Он помешался.

Помолчав, лейтенант кивнул.

— Это верно.

И они пошли дальше под ливнем.

Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать, ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело; серый день, нескончаемый дождь... Они продолжали путь.

— Мы просчитались, — сказал Симмонс.

— Нет. Через час будем там.

— Говорите громче, я вас не слышу. — Симмонс остановился, улыбаясь. — Уши. — Он коснулся их руками. — Они отказали. От этого бесконечного дождя я онемел весь, до костей.

— Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант.

— Что? — Симмонс озадаченно смотрел на него.

— Ничего. Пошли.

— Я лучше обожду здесь. А вы идите.

— Ни в коем случае.

— Я не слышу, что вы говорите. Идите. Я устал. По-моему, Солнечный Купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверно, весь свод в дырах, как у того, что мы видели. Лучше я посижу.

— Сейчас же встаньте!

— Пока, лейтенант.

— Вы не должны сдаваться, осталось совсем немного.

— Видите — пистолет. Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду. А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь.

— Симмонс!

— Вы произнесли мою фамилию, я вижу по губам.

— Симмонс.

— Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до Солнечного Купола, — если только вообще дойдете, — и находите дырявый свод. Вот будет приятно!

Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда

лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: уходите.

Лейтенант не услышал выстрела.

На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми и не прибавили ему сил: немного погодя его вывернуло наизнанку.

Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды; и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую аморфную массу.

— Еще пять минут, — сказал он себе, — еще пять минут, и я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни, ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы...

Он пробился через море листья и влаги и вышел на небольшой холм.

Впереди, сквозь холодную мокрую завесу, угадывалось желтое сияние.

Солнечный Купол.

Круглое желтое строение за деревьями, поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него.

В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же Купол, что накануне. Мертвый Купол без солнца?

Он поскользнулся и упал. «Лежи, — думал он, — все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей, пей, вдоволь».

Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед, через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты.

Он остановился перед желтой дверью. Надпись: Солнечный Купол. Он потрогал дверь онемевшей рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед.

На пороге он замер, осмативаясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояла серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе — толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке, перед самым носом висело большое мохнатое полотенце; у ног стоял ящик для мокрой одежды; справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле — чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых кожаных переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное.

Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног; он чувствовал, как высыхают его волосы, и лицо, грудь, руки, ноги.

Он смотрел на солнце.

Оно висело в центре купола — большое, желтое, яркое. Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко под голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное.

Он пошел вперед, срывая с себя одежду.

## Диковинное диво

В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студеной день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный «форд». От лязга и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогузки в рассыпчатых облаках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы — ленивые поделки индейских камнерезов. С шумом и грохотом «форд» все глубже вторгался в немую глухомань.

Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего сиденья и крикнул: — Сворачивай!

По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали поднятую колесами пыль:

— Успокойся! Ложись! Пожалуйста!

И пыль медленно осела.

Как раз вовремя.

— Пригнись!

Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулем в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборожденным складками, чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропеченный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге.

Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.

Счастливого пути, Нед Хоппер, — сказал Боб Гринхилл.

— Почему? — спросил Уилл Бентлин. — Почему он всегда преследует нас?

— Уилли-Уильям, раскинь мозгами, — ответил Гринхилл. — Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погоня за нами делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудренными?

И они с невеселой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва скоро», — говаривал Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на триста — чего доброго, в голову угодит.

Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрощенная лавина, сполз обратно на дорогу.

— Уилли, дружище, не падай духом.

— Это уже давно пройдено, — сказал Уилл. — Теперь я учусь мириться.

— Мириться с чем?

— Что мне сегодня попадется клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.

Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.

— Не везет, не везет — ан, вдруг повезет, Уилли.

— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?

— Нед Хоппер.

— Мы находим золотую жилу в Тонопа, и кто первым подает заявку?

— Старина Нед.

— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?

— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватается, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнется от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыни и...

Он осекся.

Уилл Бентлин взглянул на него.

— Что случилось?

— Почему-то... — Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленные руки сами медленно повернули баранку, — ...нам нужно... свернуть... с дороги...

«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.

— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.

Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того ни с сего откололи такую штуку.

— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.

— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.

— Города? — повторил Боб.

Он повернулся. Вот пустыня, и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем, совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.

— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.

Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.

— Верно... нет других городов.

— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл.

Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.

— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, небо, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!

— Такой огромный?

Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри сделали его еще выше.

— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламогордо, нет. Погоди... И не Канзас-Сити...

— Еще бы, до него отсюда...

— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные! Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.

— Неужели... Нью-Йорк?

Уилл Бентлин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все до мелочей видно.

— Да,— сказал наконец Боб.— Здорово.

— Здорово,— согласился Уилл.— Но,— добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит,— откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?

Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:

— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, словом, какая-то шутовщина сделала этаким огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда надо нас подбодрить, нарочно для нас.

— Не только для нас.— Уилл повернул голову вправо.— Погляди-ка!

Немая лента странствий отпечаталась на крупчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.

— Следы шин,— сказал Боб Гринхилл.— Знать, немало машин сворачивает сюда.

— Чего ради, Боб? — Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами.— Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!

— Ну?

— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор.— Ррррррр! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа.— Ррррррр! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль — единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть, любоваться!

— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте...

— Красота, красота! Чья это земля?

— Государственная, надо полагать...

— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш... верно?

— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдали.— То есть ты собираешься... разрабатывать мираж?

— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!

Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.

— Это можно?

— Можно? Извините, что я напылил!

Уилл Бентлин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.

— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих простирается золотой прииск, мы промываем золото, это корова, мы ее доим, это море денег, мы купаемся в нем!

Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.

— Уилли,— сказал его товарищ, — кто же станет платить за то, что-

бы посмотреть на какой-то паршивый старый...

— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!

Он поднял в руках объявление.

### ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД

25 центов с машины. С мотоциклов десять.

— Как раз машина идет. Теперь гляди!

— Уильям!..

Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.

— Эй! Смотрите! Эй!

Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший матадора.

Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадет улыбка на лице Уилла.

Внезапно — упоительный звук.

Визг тормозов.

Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размахивая, указывая.

— Извольте, сэр! Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!

Ничем не примечательный участок исчертило множество, нет, нечетное множество колесных следов.

Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду — тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкли. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и растегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.

Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им.

— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим!

— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл.

Вторая машина повернула к выходу.

— Ничего не скажешь! — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!

— Французом?! — вскричал Боб.

Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.

— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все как положено, Вестминстерский мост, лучше, чем на открытке, и Большой Бен подал. Как это у вас получается? Дай вам бог счастья. Премного обязан.

Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.

— Большой Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?

Чу, что это, кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке, и судовые сирены гудят в ответ?

— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Большой Бен? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?

Ветер переменялся. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора?

— Как... — заговорил Уильям Бентлин, — почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну держись, Боб, держись!

Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.

Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают вверх, заставляя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно, простершись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:

В Ксанадупуре...

— Что? — спросил Уильям.

Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:

В Ксанадупуре чудо-парк  
Велел устроить Кублай-хан.  
Там Альф, священная река,  
В пещерах долгих, как века,  
Текла в крошечный океан.

Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.

Десяток плодородных миль  
Властитель стенами обнес  
И башнями огородил.  
Ручьи змеистые журчали.  
Деревья ладан источали,  
И древний, словно горы, лес  
В зеленый лиственный навес  
Светила луч ловил.

Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздь легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пылицы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, нетронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь...

Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отивучали последние слова:

Поистине диковинное диво:  
Пещерный лед — и солнца переливы.

Незнакомец смолк.

И тишина в душе у Боба и Уилла стала еще глубже.

Незнакомец теребил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.

— Спасибо, спасибо...

— Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.

— Будь у меня еще, вы бы все получили.

Он стиснул руку Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.

Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.

Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте.

— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!

Но Роберт сказал:

— А мне кажется, не надо...

Уильям перестал плясать.

— Что?

Роберт пристально смотрел на пустыню.

— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое.

— Как не знаем: Нью-Йорк и...

— Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?

— Всегда мечтал. Никогда не бывал.

— Всегда мечтал, никогда не бывал. — Роберт медленно кивнул. — Так и они. Слышал: Париж. Рим. Лондон. Или этот, последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое... Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.

— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?

— Почему ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я неправ.

Уильям поглядел.

Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней над краем земли стал подниматься город, испытующе глядя на него, следя, как он подъезжает все ближе. Город — такой невиданный, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный...



— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник, пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит холодком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся, да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам...

Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться.

— Раз ты так говоришь...

— Не я. Весь здешний край говорит.

— А вот я скажу другое!

Они подскочили и обернулись.

На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках — ну, конечно, старый знакомый, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.

— Нед Хоппер!

Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.

— Ты... — произнес Роберт.

— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!

— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.

— Что как зеркало?

Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.

Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова gobеленом повис в воздухе.

— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед приподнял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут настоящий театр!

— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свиданья.

Нед приторно улыбнулся.

— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.

— На твоём! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шопотом повторили: — Как это на твоём?

Нед усмехнулся.

— Я как увидел ваши дела, махнул напрямиком в Феникс. Видите документик у меня в заднем кармане?

В самом деле: аккуратно сложенная бумажка.

Уильям протянул руку.

— Не доставляй ему удовольствия, — сказал Роберт.

Уильям отдернул руку.

— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже подал заявку на участок?

Нед погасил улыбку в своих глазах.

— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете. — Нед изучил окрестности в свой бинокль. — Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку, с того часа вы находитесь на чужой земле — на моей земле.

Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.

— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!

Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.

— Ты ничего не видишь?

Нед фыркнул.

— Ничего, будто не знаешь!

— А мы видим! — закричал Уильям. — Мы...

— Уилл, — сказал Роберт.

— Но, Боб!..

— Там нет ничего. Он прав.

Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.

— Извините, джентльмены, мое место в кассе! — Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм! Сюда, сюда! Деньги вперед!

— Почему? — Уильям проводил взглядом горланящего Неда Хоппера. — Почему мы ему потакаем?

— Погоди, — кротко сказал Роберт. — Посмотрим, что будет.

Они отошли в сторону, пропуская чей-то «форд», чей-то «бьюик», чей-то престарелый «мун».

Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин, свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил издававший виды театральный бинокль на то, что происходило внизу.

— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали, — отметил он. — Ничего, скоро закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.

Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.

— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?

Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.

— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдаль, радуются: «Ага, не иначе там ходят этаким милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам, погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.

— Да ведь не хочется, — задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром. — Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?

— Когда? — Роберт винтил линзы бинокля себе в глаза. — Уже, уже разразил! Позор маловерам!

Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.

— Гляди!

И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:

— Семь верст до небес!

— И все лесом!

Еще бы, такое зрелище! Нед Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.

Уильям ахнул.

— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того... А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!

— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.

И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.

— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт. — Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!

Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла, раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обтер.

Сумерки сгустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.

— Нет, нет! — произнес Уильям.

— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.

Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.

Уильям вздохнул горько-горько.

— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтoб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!

Роберт грустно улыбнулся.

— А мне его жалко.

— Жалко?!

— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристаёт.

Уильям внимательно оглядел безлюдный край.

— По-твоему, в этом все дело?

— Кто его знает... — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови, как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребущей лапищей. И сразу театр — двери на замок.

— А мы... — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?

— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо?

Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.

— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком...

И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:

— А точно ли это? Что мы такие чистосердечные?

Роберт усмехнулся.

— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрослые — простые души, что выросли среди полей и милостью божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год...

Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:

— Видишь что-нибудь?..

Уильям вздохнул.

— Нет. Может быть... завтра...

На шоссе показалась одинокая машина.

Они переглянулись. Глаза их вспыхнули иступленной надеждой. Но руки не поднимались и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.

Машина пронеслась мимо.

Они проводили ее молящими глазами.

Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:

— Уже закрыли на ночь?!

— Ни к чему... — заговорил Уильям.

— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт. — Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!

— Спасибо, приятель, спасибо!

Машина, рывкнув, въехала на площадку кругозора.

Уильям стиснул локоть Роберта.

— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!

— Помалкивай, — тихо сказал Роберт. — Пошли.

Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.

— Смотри, — сказал Роберт.

Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади.

Уильям затаил дыхание.

Отец и мать, неловко шурясь, всматривались в сумрак.

Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката.

Уильям прокашлялся.

— Уже поздно. Кхм... Плохо видно...

Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:

— А мы видим... здорово!

— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там!

Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!

— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там... нет... ну да, вот оно!

Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем,

сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.

— Да, — молвил он наконец, — да, конечно.

Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта: тот улыбнулся и кивнул.

Четыре лица, обращенных к пустыне, так и сияли.

— О, — прошептала девочка, — неужели это правда?

Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:

— Да. И, клянусь... это прекрасно.

Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:

— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл.

И тут Уильям понял, что надо делать.

— Я... я стану с детьми, — сказал он.

И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?

И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер вновь вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.

Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:

Поистине... диковинное диво:

Пещерный лед — и солнца переливы...

Они видели город.

Солнце зашло, появились первые звезды.

Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:

Поистине диковинное диво...

И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.

## Каникулы

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было беспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржав-

чины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мгlistых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилося чье-то сердце.

Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркала и зарокотала двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развеивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдаль.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он

понежнгоу отпуекал галетук и раетегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это было правда.

В одно прекрасное утро они проснулись и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру блестели машины перед коттеджами, но не слышно ничего «до свиданья», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета. Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и слышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть потому, что уже столько лет не любили город и позади было столько мнимых друзей, и была

замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Всё, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И... я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучали. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность, — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей!

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в



море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимует в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчит того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападем на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал.

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

Он написал наше желание? — думала женщина. Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это?

Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко.

Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

### Мальчик-невидимка

Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.

— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеинный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу — и земля заколывается, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, щелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах, ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.

Вся в поту, она встала и направилась напрямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну, выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка.

— Ах, так! — прошипела она. — Хорошо же, я сама войду!

Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.

— Господи, о господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настежь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной, мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот okazji.

Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:

— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком, сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.

— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.

— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом.

Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь неможготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!

— Э-э! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась.

— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.

Чарли молчал; тогда она свистящим, прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние, накопай мышиноного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке.

— Ты рехнулась,— сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты меня разыгрываешь,— сказал Чарли.

— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Правда, буду невидимкой?

— Правда, правда!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Ну, ладно,— нерешительно сказал он.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, понурый, глядит исподлобья.

— Ну, делай меня невидимкой.

— Сперва надо поймать летучую мышь,— ответила Старуха. — Давай-ка, ищи!

Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иглку. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удается. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках, руками, рот открыт, зубы блестя...

— Готов,— содрогаясь, прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!

— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!

Он сунул амулет в карман.

— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул, так что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!

Тощее тело Старухи затряслось от смеха.

— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.

— Ой!

— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он. — Правда?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?

— Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.

— Ничего, муть осядет.

Погодя, она добавила:

— Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?

Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.

Грезя наяву, он заговорил:

— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.

Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.

— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.

Потом прибавила:

— А как с твоими родителями?

— Родителями?

— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи!», после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.

— Ох, и одиноко тебе будет. Люди станут, смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...

Он глотнул.

— Ну, что девчонки?

— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.

— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше, он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дробь, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой...

Старуха кивнула дереву.

— А что, так и будет.

— Ладно, — рассудил Чарли, — сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Есть же чудачки, выше себя прыгнуть стараются, — сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему, — объяснила она. — Не так-то это просто было, сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сходит.

— Это все ты! — вскричал он. — Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!

— Тише, не кричи, — ответила Старуха. — Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.

— Это как же так — я иду по горам, и только одну руку видно?

— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!

— Или ногу?..

— Будто розовый кролик в кустах прыгает!

— Или одна голова плывет в воздухе?

— Будто волосатый шар на карнавале!

— Когда же я целым стану?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.

У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.

— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!

Она подмигнула.

— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, вздумала удержать меня!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали.

Подождав, она развела костер.

— Вернется, — прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя:

— Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на окатанные ручьем голыши и уставился на нее.

Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глазом не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу.

— Чарли?

Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его, снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.

— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж, во всяком случае, ему очень нравилось быть невидимым.

Она громко произнесла:

— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.

— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.

Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась с криком:

— Господи, что это?

Подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это ты, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засеменила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да где же ты?

Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.

Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие — словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!

Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.

Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабы, паучьи: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.

Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.

Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскричала она.

Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбегал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.

У старухи отнялся язык. Что сказать ему? Одеться, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать так? Ох, Чарли, господи, боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..

Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топает босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это длилось, наконец, она не выдержала:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!

Он спорхнул к ней, точно лист с дерева, — слава богу, одетый.

— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!

— Правда видишь? — спросил он.

— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогающую лягушку. А вот там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Появился, появился!

Старуха кивнула.

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.



— А руки, руки как?  
 — Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!  
 — А вторая?  
 — Тоже ползет.  
 — А тело у меня есть?  
 — Уже проступает, все как надо.  
 — Теперь верни мне голову, и я пойду домой.  
 \*Домой\*, — тоскливо подумала Старуха.  
 — Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя головы! Нету!  
 Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...  
 — Нету головы, нету, — твердила она.  
 — Совсем нет? — заныл Чарли.  
 — Есть, есть, о господи, вернулась твои паршивая голова! — огрызулась она, сдаваясь. — А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Чарли швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свиной, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках, — и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно погаснуть...

## Здравствуй и прощай

Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь: настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию, — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комодке он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я вам буду писать каждое рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну, и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествовал, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо, поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом — голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда тебе исполнится пятнадцать, сынок, тогда может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве: ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись. В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему, вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны — к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтоб уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939! 1945! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, что ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь бежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?

...И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает, почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостя...

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговыми, безобразными, в морщинах, поседеют, полсекут, а под конец и вовсе останутся кожа да кости, да одышка, и все они умрут, и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени деревьев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девятую из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чув-

ствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня куда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно, с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй — не воюй, плачь — не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку, с куском мяса на вилке, так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегу на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтоб мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И, наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому — пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные

мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — он все не трогался с места.

— Ну, пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два-голова, три-четыре-отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетаая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно, на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся, и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редеет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо! — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе, — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустые улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом — и вступил в новый город.

### Берег на закате

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках, Том прислушался.

Вечерело, из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не щелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльцо блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы — словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под Матисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развеивает ярко-желтый флаг. А иногда флаг черный или медно-красный. Женщина четко вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом настает такой день, как сегодня...

Том опустил обломок на все растущую грудку плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались и давно уже убрались в свои ясы.

— Чико... Что мы тут делаем?

— Живем, как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах пятна от снятых картинок, на полу ковром — песок. Комнаты от ветра смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегают на бесконечный берег косая волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам приводил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда ускользали неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли не за ту и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимали вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесосы, выдирали жемчужинку из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда, для забавы, ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья, — Чико ухмыльнулся. — Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико... — Том прикусил нижнюю губу, договорил не сразу: — Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь, — заторопился Том, — может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери, — медленно произнес Чико и крепко стиснул ручищами сито. — Послушай, парень, ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Вбей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико.

— Я, пожалуй, на той неделе уйду...

— Заткнись! Заткнись и знай работай.

Чико яростно потрянул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью — полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добычу, монеты поблескивали на проволоочной сетке точно металлические шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а...

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

По берегу, отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там... там...

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— ...женщина... у Северной скалы... чудная какая-то!

— Женщина?! — воскликнул Чико и захохотал. — Нет уж, хватит!

— А чем она чудная? — спросил Том.

— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите! Страсть, какая чудная!

— Утопленница, что ли?

— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите... чудно... — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда прибежал. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.



— Я не вру! Честное слово!— мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу.— Ох, пожалуйста, скорей!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Наверяд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтоб нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают,— возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду,— сказал Том.

— Спасибо. Ой, спасибо, мистер!

И мальчик побежал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, шурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба казались моложе своих лет, потому что в коротко стриженных волосах седина незаметна. Дул свежий ветер, волны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда?— сказал Том.— Вдруг мы придем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу — луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать о том, сколько удивительных тварей живет в море, и теперь, в мерном дыхании прибоя, ему слышались их имена. Аргонавты,— нашептывали волны,— треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской слон,— нашептывали они,— лосось и камбала, белуга, белый кит и косатка, и морская собака... удивительные у них имена, и всегда стараешься представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смеешь ступить с безопасной твердой земли, а все равно они там, и эти имена, и еще тысячи других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей-фрегатом с могучими крыльями, что улетает за тридевять земель и возвращается через годы, повидав все моря и океаны.

— Ой, скорее!— мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо.— Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнее,— посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчишка и неотрывно глядел на песок.

Быть может, краешком глаза Том увидел на песке что-то такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дольше он смотрел, тем растерянней, ошеломленней становилось его лицо и опять стекленели глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже и не заметил ничего.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок.

И тотчас у него самого лицо стало такое же, как у этого мальчика. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, пальцы сжались в кулаки, губы дрогнули и приоткрылись, и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались вобрать.

Солнце стояло совсем низко, еще десять минут — и оно скроется за гладью океана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пряди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длиною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были они зеленые-зеленые.

Лицо ее...

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза.

Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо — как луна средь бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят, смотрят... Нежные и пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегая, скрывает и вновь обнажает волна — набежит и отхлынет, набежит и отхлынет... Розовеют кончики груди, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкает и искрится темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером из пены и алмазов. Меж двумя половинами этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистой воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова взбегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родную глубину. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они — одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или морщинка, ни единый стежок или шов; и кажется — а быть может, не только кажется — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ними.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорит чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужто померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Ну да, — продолжал он. — Просто ее сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой, нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт....

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам и недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся... — ему словно не хватало голоса.

Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну, не знаю... а может... может быть...

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели, и вздрагивали под дыханием ветра и волн, и наплывали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет, нет! — так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки, и пальцы чуть заметно дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще... пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все тело, пусть унесет ее всю назад в морскую глубину.

— Том... — начал Чико и запнулся, потом договорил: — Ты бы schoдил, поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слышал, что я говорю?

— Да, но...

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куда-нибудь, уж не знаю... в университет, или в аквариум на Тюленьем берегу, или... черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай... — он потряс Тома за плечо. — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот, подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам. — Вы ж сами говорите, что она настоящая, верно? Так какого беса мы все ждем?

— Чико, — сказал Том, — ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо ж кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико, — сказал Том, — уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать этот твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгребите побольше песка, чтоб волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну, поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка получше серой амбры. — Он взбежал на ближнюю дюну, крикнул оттуда: — А ну, давайте работайте! — и исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик.

Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том опять наклонился и увидел под твердым маленьким подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может

быть давно, жабы; сейчас они плотно закрылись, их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробирала дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рявкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх по берегу, потом на две дюйма — вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом, уходя, на шесть дюймов — вниз, к воде.

— Но ведь... — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом — еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине.

Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянное, испуганное и несчастное.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал — да, она настоящая, та самая, моя... но... она мертва. А может, и не мертва, но если останется здесь — умрет.

— Нельзя ее упустить, — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы... мы... — запнулся, покачал головой, — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая женщине путь к морю.

Нахлынула огромная волна. А потом она схлынула, и остался один только песок, и на нем — ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдаль... а потом позади, на дюнах, взревел грузовик.

Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго ехали по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без усталости, поминутно сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насквозь, хоть выжми. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не двинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно

и то же! Пальцем не шевельнет, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну, а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты-то тоже верен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что его слова еле можно было расслышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит...

Они поехали берегом дальше, остановили машину.

Чико минуты три сидел, не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в девятьсот пятьдесят восьмом? А мы с тобой сидим на краю постели, ночь ведь, и отвечаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут — вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все распрощаемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они сидели в темноте на ступенях крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу:

— Том... на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял, что никуда он теперь отсюда не уйдет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн, и плавать среди зеленых кружев и слепящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускленькой пеленой. Ненадолго океан темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят не мигая, и ждут.

## Пролог: Человек в картинках

С Человеком в картинках я повстречался ранним теплым вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе, это был последний переход в моем двухнедельном странствии по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать — и тут-то на вершину холма

поднялся Человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе.

Тогда я еще не знал, что он — в картинках. Разглядел только, что он высокий и прежде, видно, был поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи — как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское.

Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня:

— Не скажете, где бы мне найти работу?

— Право, не знаю,— сказал я.

— Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы,— пожаловался он.

В такую жару на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава — и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Пот градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул.

— Что ж,— сказал он помолчав,— можно и тут переночевать, чем плохое место. Составлю вам компанию — вы не против?

— Милости просим, могу поделиться кое-какой едой,— сказал я.

Он тяжело, с кряхтением опустил наземь.

— Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться,— сказал он.— Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября. День труда — самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается, тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду.

Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать.

— На работе, если повезет, продержусь дней десять. А потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны! Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше и не соваться.

— Что ж так?

Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно, ощупал себя.

— Чудно,— сказал он, все еще не открывая глаз.— На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь — вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали! В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь — может, их потом смоем или кожа облупится и все сойдет, а вечером глядишь — они тут как тут.— Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди.— Тут они?

Не сразу мне удалось перевести дух.

— Да,— сказал я,— они тут.

Картинки.

— И еще я почему застегиваю ворот — из-за ребятни,— сказал он, открывая глаза.— Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь всем неприятно.

Он снял рубашку и свернул ее в комок. Он был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса.

— И дальше то же самое,— сказал он, угадав мою мысль.— Я весь как есть в картинках. Вот поглядите.

Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза — только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее, но это была только картинка.

Да что ладонь! Я сидел и паялил на него врата — на нем живого места

не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки — целые толпы, да так все хитро сплетено и перепутано, так все ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось — даже слышны тихие, приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Стоило ему чуть шевельнуться, вздохнуть — и вздрагивали крохотные рты, подмигивали крохотные зеленые с золотыми искорками глаза, взмахивали крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы, тут же словно протянулся Млечный Путь — звезды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати местах, если не больше, — на руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее.

— Да какие красивые картинки! — вырвалось у меня.

Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странно удлинненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомого. Краски пылали в трех измерениях. Будто окна распахнуты в зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей длиной. Здесь, собранное на одной и той же стене, сверкало все великолепие Вселенной; этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница-татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота.

— Еще бы! — сказал Человек в картинках. — Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом...

Солнце садилось. На востоке уже взошла луна.

— Понимаете ли, — сказал Человек в картинках, — они предсказывают будущее.

Я промолчал.

— Днем, при свете, еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане. А вот ночью... все картинки двигаются. Они меняются. Должно быть, я невольно улыбнулся.

— И давно вы так разрисованы?

— В тысяча девятисотом, когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя, а надо ж было что-то делать, я и решил — пускай меня татуируют.

— Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?

— Она вернулась в будущее, — был ответ. — Я не шучу. Это была старуха, она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Этакая колдунья, то дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — не больше двадцати, но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха.

— Как же вы с ней познакомились?

И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску: **РОСПИСЬ НА КОЖЕ!** Не татуировка, а роспись! Настоящее искусство! И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колот и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А наутро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок.

— Вот уже полвека я каждое лето ее ищу, — сказал он и потряс кулаками. — А как отыщу — убью.

Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели в сумраке, точно раскаленные уголья, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов, и там были краски Руо, и краски Пикассо, и удлинённые плоские тела Эль Греко.

— Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут — и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй, они прямо на мне разыгрываются, вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно все тут, только и ждет, чтоб вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место, — он повернулся спиной. — Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то.

— Вижу.

— Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается и на нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение и видна вся ее жизнь — как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение: как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в три шеи.

Так он говорил и все поглаживал ладонями свои картинки, будтоправлял рамки или пыль стирал, точ-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лег, откинулся на спину, большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, ни ветра. Мы оба лежали без рубашек.

— И вы так и не отыскиали ту старуху?

— Нет.

— И, по-вашему, она явилась из будущего?.

— А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?

Он устало закрыл глаза. Заговорил тише:

— Бывает, по ночам я их чувствую, картинки, вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.

Я лежал шагах в трех от него. Он был как будто не буйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если б его так изукрасили.

Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, в овражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтоб видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли Человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот:

— Шевелятся, а?

Я понаблюдал с минуту. Потом сказал:

— Да.

Картинки шевелились, каждая в свой черед, каждая — всего минутую-другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли, и, словно далекий прибой,



тихо роптали голоса. Не сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звезды свершали свой путь по небосводу...

Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочался во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидел черную пустыню, глубокую, бездонную пропасть — там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну; я смотрел, а оно все падало...

### Калейдоскоп

Ракету тряхнуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте точно десяток серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, заблудившиеся в холодную зимнюю ночь.

— Вуд, Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я — Стоун!

— Стоун, это я — Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки, в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

Это была правда. Холлис, летя кувирком в пустоте, понял — это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстанутся, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой опасательной шляпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, разрозненные песчинки, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный, мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько еще времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою.  
— Думаю, еще с час.  
— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.  
— А что произошло? — спросил он минуту спустя.  
— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.  
— Ты в какую сторону летишь?  
— Похоже, врежусь в Луну.  
— А я — в Землю. Возвращаюсь к матушке Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сторю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Он словно отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить в своей судьбе. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать...

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, господи, не хочу я так!

— Стимсон, это я — Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай непременно найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — легко, даже весело, как ни в чем не бывало. — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, отчаянно хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал до него добраться, и вот — слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространстве разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

До кричавшего, казалось, можно было дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и

всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой.

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричавшего. Ухватил за щикотолку, подтянулся, и вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную.

Так ли, эдак ли, думает Холлис. Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты, так почему бы не сейчас?

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом, нескончаемом безмолвном падении.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис не откликается, но лицо ему обдаёт жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не страшайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй приказывай. — За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал. — О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт. — А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлис перетянул рукав еще туже, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая, точно из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе осталась жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падая навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в сердцевине ее трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, обреченный вечно падать в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. Так вот, это я внес тебя в черный список перед тем, как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так — умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а все уже кончено? Неужто всем она кажется такой невыносимо краткой — или только ему здесь, в пустоте, когда остались считанные часы на то, чтоб все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтает свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

А сейчас ты влип, думал Холлис. Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщин я боялся, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было.

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Как это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь он хотел сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба жестоко ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту — только это и важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть, что вспомнить! — сердито крикнул издалека Леспир, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял:

Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлиса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспиру. — Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно, — отозвался Леспир. — Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случалось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, скопилось впрок для такого вот часа. «Подлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатались по щекам. Наверно, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, никакое это не мужество, просто он оцепенел, так бывает от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира, теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль. — Я на тебя не в обиде.

Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис. Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — какая от него радость? Так и так помирать. Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами — и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь, метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр, и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать.

— Это опять я, Элпгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы станем скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так быстро старею, вот и спешу покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром — и стыдно мне, что ли, стало. В общем неважно, только ты знай — я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, — сплошное вранье. И катись к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукин ты сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты?! — на всю вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, группа Мирмидонян; они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!

Молчание. Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и черный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем за орбиту Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не смеши, — сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис, — голос Эплгейта.

Еще и еще прощанья. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их охватывала черепная коробка пронизывающей пространство ракеты, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И как живое существо погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля,

и долгие дни, прожитые бок о бок, и всего лишь люди значили друг для друга. Эплгейт теперь все равно что оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, противиться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгнули, будто бог обронил несколько слов — и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт улетает к Плутону; и Смит, Тернер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

А я? — думал Холлис. Что мне делать! Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хотя одним добрым делом искупить бы свою подлость, она столько лет копилась во мне, а я и не подозревал! Но теперь никого рядом нет, я один, а что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу.

И сгорю, подумал он, и развеюсь прахом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть прах, и он соединится с землей.

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего, только одного ему хотелось: сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, если б сделать хоть что-то хорошее и знать — я это сделал...

Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор.

— Хотел бы я знать,— сказал он вслух,— увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание,— сказала мать.— Загадай скорей желание!

## На большой дороге

Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на косогоре, застучал по соломенной крыше хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок.

Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река, бурля, катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река — покрытое асфальтом шоссе — застыла недвижно, и лежала пустынная, и влажно блестя.

Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтоб какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул:

— Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем!

В одной руке у такого ящичек, который щелкает, в другой — монета.

И если Эрнандо медленно шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали:

— Нет, нет, надень шляпу!

И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки — и такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат, только поблескивают на солнце, словно паучы глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой.

— Что-нибудь неладно, Эрнандо? — услышал он голос жены.

— Si. Дорога. Что-то стряслось. Что-то худое, зря дорога так не опустеет.

Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь, от дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо, куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне — длинная, низкая, очень богатая машина — и слепит металлическим блеском. А потом поднимется ил, вода замутится — и опять ничего не видно.

На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки.

Сейчас он вышел на шоссе, и стоял, и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт.

И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин, они мчались и мчались — всё мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север, к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах. И гудели и сигналили без умолку. Во всех машинах полно народу, и на всех лицах — что-то такое, отчего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на крайину шоссе и смотрел, как мчатся машины. Он считал их, пока не устал. Пятьсот, тысяча машин пронеслись мимо и во всех лицах было что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое.

И вот опять стало тихо и пусто. Быстрые длинные низкие автомобили с откинутым верхом исчезли. Затих вдали последний гудок.

Дорога вновь опустела.

Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили всё на север, на север, на неведомый мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук.

И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый, самый последний. Это был старый-престарый «форд», он спустился по горной дороге, под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех своих сил. Казалось, того и гляди развалится на куски. Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась — она была ржавая, вся в грязи, радиатор сердито ворчал и шипел.



— Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?

За рулем сидел молодой человек лет двадцати в желтом свитере, белой рубашке с открытым воротом и в серых штанах. Дождь заливал открытую машину, водитель весь вымок, вымокли и молодые пассажирки — их было пять, они сидели в «фордике» так тесно, что не могли пошевелиться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая защита, яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь. И мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, то им не нравился дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко.

Эрнандо кивнул.

— Я принесу воды.

— Ох, пожалуйста, скорее! — воскликнула одна девушка.

Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось нетерпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал — это впервые он заторопился, когда его попросили проезжие, раньше он всегда только замедлял шаг.

Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку тоже подарила ему большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле — круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе и не заметив, что потерял свой серебрянный глаз. С тех пор Эрнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни — отличный получился тазик.

Наливая воду в кипящий радиатор, Эрнандо поглядел на молодые растерянные лица.

— Спасибо вам, спасибо! — сказала одна из девушек. — Вы и не знаете, как вы нас выручили!

Эрнандо улыбнулся.

— Очень много машин проехало за этот час. И все в одну сторону. На север.

Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить — возьмет за плечи то одну, то другую и легонько встряхнет, а они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут — одни тихонько, другие навзрыд.

Эрнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода.

— Я не хотел никого обидеть, сеньор, — промолвил он.

— Это ничего, — отозвался водитель.

— А что такое случилось, сеньор?

— Вы разве не слышали? — молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед. — Это все-таки случилось.

Лучше бы он ничего не говорил. Все девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами.

Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор. Поглядел на небо — оно было черное, грозное. Поглядел на реку — она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал какой-то очень жесткий.

Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул лонету.

— Нет, — сказал он. — Я не ради денег.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — все еще всхлипывая, сказала одна из девушек. — Ох, мама, папа... я хочу домой, хочу домой... мама, папочка...

Подруги обхватили ее за плечи.

— Я ничего не слышал, сеньор, — тихо сказал Эрнандо.

— Война! — крикнул молодой человек во все горло, как будто кругом были глухие. — Вот она — атомная война, конец света!

— Сеньор, сеньор, — сказал Эрнандо.

— Спасибо вам, спасибо, что помогли, — сказал молодой человек. — Прощайте.

— Прощайте, — сквозь стену дождя сказали девушки; они уже не видели Эрнандо.

Он стоял и смотрел вслед дряхлому «форду», пока тот, дребезжа, спускался в долину. И вот все скрылось из виду — последняя машина, и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами.

Еще долго Эрнандо стоял не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал.

Он все не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет, очень долго», — подумал он.

Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь десять минут, словно чье-то зловонное дыхание. Из чащи потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, поглядел на небо — в вышине уже разгоралось жаркое солнце.

Жена, не переставая молотить кукурузу, окликнула:

— Что случилось, Эрнандо?

— Да так, ничего, — отозвался он.

Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу:

— Вперед, бурро!

И, вспахивая тучную землю, они с ослом зашагали по полю; небо над головой все больше прояснялось, чуть поодаль струилась глубокая река.

— «Конец света», — вспомнил вслух Эрнандо. — Как же так — конец?

## Завтра конец света

— Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?

— Что бы я делала? Ты не шутишь?

— Нет.

— Не знаю. Не думала.

Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярком зеленоватом свете ламп «молния», обе девочки что-то строили из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.

— Что ж, пора об этом подумать, — сказал он.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— Война?

Он покачал головой.

— Атомная бомба? Или водородная?

— Нет.

— Бактериологическая война?

— Да нет, ничего такого, — сказал он, помешивая ложечкой кофе. — Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку.

— Что-то я не пойму.

— По правде говоря, я и сам не понимаю; просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе. — Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы. — Я тебе сперва не говорил. Это случилось дня четыре назад.

— Что?

— Мне приснился сон. Что скоро все кончится, так сказал голос; какой-то совсем незнакомый, просто голос, и он сказал, что у нас на Земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу — Стэн Уиллис среди бела дня уставился в окно; я говорю: о чем это ты замечтался, Стэн? А он отвечает: мне сегодня снился сон, — и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал.

— Тот самый сон?

— Тот самый. Я сказал Стэну, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился. Даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору, просто так, для интереса. Это получилось неожиданно, само собой. Мы не говорили: пойдём поглядим, как и что. Просто пошли и видим — кто разглядывает свой стол, кто — руки, кто в окно смотрит. Кое с кем я поговорил. И Стэн тоже.

— И всем приснился тот же сон?

— Всем до единого. В точности то же самое.

— И ты веришь?

— Верю. Сроду ни в чем не был так уверен.

— И когда же это будет? Когда все кончится?

— Для нас — сегодня ночью, в каком часу не знаю, а потом и в других частях света, когда там настанет ночь, — земля-то вертится. За сутки все кончится.

Они посидели немного, не притрагиваясь к кофе. Потом медленно выпили его, глядя друг на друга.

— Чем же мы это заслужили? — сказала она.

— Не в том дело, заслужили или нет; просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Почему это?

— Наверное, есть причина.

— Та самая, что у всех наших в конторе?

Она медленно кивнула.

— Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился тот самый сон. Я думала, это просто совпадение. — Она взяла со стола вечернюю газету. — Тут ничего не сказано.

— Все и так знают.

Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену.

— Боишься?

— Нет. Я всегда думала, что мне будет страшно, а оказывается — не боюсь.

— А нам вечно твердят про чувство самосохранения — что же оно молчит?

— Не знаю. Когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно.

Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться.

— Разве мы были такие уж плохие?

— Нет, но и не очень-то хорошие. Наверно, в этом вся беда — в нас ничего особенного не было, просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили невесть что.

В гостиной смеялись девочки.

— Мне всегда казалось: вот придет такой час, и все с воплями выбегут на улицу.

— А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя.

— Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу, вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть еще хоть один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?

— Так ведь все равно ничего не поделаешь.

— Да, верно; если б можно было, мы что-нибудь бы делали. Я думаю, это первый случай в истории — сегодня каждый в точности знает, что с ним будет ночью.

— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать и сами лягут — все, как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все, как всегда.

Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.

— Как ты думаешь, почему именно сегодня?

— Потому.

— А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

— Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все — такое уж особенное число, потому, что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец.

— Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся.

— Вот отчасти и поэтому.

— Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?

Они перемыли посуду и аккуратней обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь спальни чуточку приоткрытой.

— Не знаю... — сказал муж, выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке.

— О чем ты?

— Закрывать дверь плотно или оставить щелку, чтоб было светлее...

— А может быть, дети знают?

— Нет, конечно, нет.

Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные уголья, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит это вечер — каждый по-своему.

- Что ж,— сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем.  
— Все-таки нам было хорошо друг с другом.  
— Тебе хочется плакать? — спросил он.  
— Пожалуй, нет.

Они прошли по всему дому и погасили свет. В спальне разделись не зажигая огня, в прохладной темноте, и откинули одеяла.

— Как приятно, простыни такие свежие.

— Я устала.

— Мы все устали.

Они легли.

— Одну минуту,— сказала она.

Он слышал, как она поднялась и вышла на кухню. Через минуту она вернулась.

— Забыла повернуть кран,— сказала она.

Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся.

Она тоже посмеялась — и правда, забавно! Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки, щекой к щеке.

— Спокойной ночи,— сказал он еще через минуту.

— Спокойной ночи.

## Кошки-мышки

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище — огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались слепящими голубоватыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выводившего трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери были распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишеские ноги — мальчишки подсакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследуя смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой,— с улыбкой сказал Уильям Тревис.— Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под ярки-

ми звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжащее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману.

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь с гремющей звоном колокольной кто-то пускал огромные шутихи, они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле майсовыми лепешками так, что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела того человека — он белокожий, в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы прямые, светлые, глаза голубые. Он в упор смотрел на них с Уильямом.

Она бы его и не заметила, если б у его локтя не выстроилась целая батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще семь штук разных напитков, и под рукой — десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой и порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась тонкая гаванская сигара, и рядом на стуле лежало десятка два пачек турецких папирос, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Билл... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать этого быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись, — он улыбнулся: нельзя привлекать внимания. — Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не запозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду — что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

«Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и начался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собой два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия».

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слышала? Про Бюро путешествий во времени слышала? Можно ехать, куда хочешь — в Рим за двести лет до рождения Христа, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай — увидеть своими глазами пожар Рима! И Моисея и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламку.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги.

#### РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА! БРАТЯ РАЙТ НА «КИТТИ ХОУК»!

*Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!*

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала — вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть,

вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в этот мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они были в Мексике в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размазанную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска рассеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938, сняли комнату в Нью-Йорке, походили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем, как удрать, в свой первый вечер в Нью-Йорке, они смаковали странные напитки, непривычные яства, накопили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее, так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям.

— Держись, так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинно солдатское щелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сажались.

Уильям похолодел. Опустил глаза — руки его лежали на коленях, как ни в чем ни бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват, — незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы НЕ подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?



— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес.

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Ох, господи, и почему я их не подтянул, когда садился. Для этой эпохи самый обычный жест, все их поддерживают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, во всем виновата моя походка... эти высокие каблуки... И наши прически, стрижка... видно, что мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажжет свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедем в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровным счетом через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмеяться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых, и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтоб нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре слышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю,— сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— *Que pasa?*<sup>1</sup> — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, нам не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

Отвлекись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетное множество сигарет и ждет. Глядя сверху на этих веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени направляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошлое нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберегать от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, что она такая и каково ей сейчас.

<sup>1</sup> Что происходит? (исп.).

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же: яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось — рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, спустился мистер Симс. Он издал кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу им, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине, выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я — режиссер. Ну, не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут, как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порадуйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен под села к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще на ходу, — мы, кажется, собирались позавтракать вдвоем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удастся себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесплезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон вновь что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях! — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы!

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам удрать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — бежать от своего прямого долга!

— Это не долг, а крошечный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада ему объяснить. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят напрямик к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил.

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика — очень досадно со всем этим расставаться. Жалко отка-

зывать от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен. — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?!

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы из гаража выехал Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму — и тут он увидал машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora<sup>1</sup>.

Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Несчастный случай. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не будет погони? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю. Думаю, что у нас есть немного форы.

Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмурия брови поспешил навстречу.

<sup>1</sup> До свидания, сеньор и сеньора (исп.).

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвесы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и руин, и селений, где лагуны слеплены были из желтой, синей, лиловой глины и повсюду пламенели цветы буганвилей, смотрела и думала: Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запирались на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтоб поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: «Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!» И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам.

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен пытливо взглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостиннице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел он оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они огляделись по сторонам — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик — согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

Время, подумала Сьюзен. Если бы у нас было время! Как бы хорошо весь долгий погожий день сидеть на площади с закрытыми глазами, и улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд? — воскликнула она.

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком взглянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может, быть, даже имя; и путешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись Мелтон и компания. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные пересмеялись и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене — они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который кажется им воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежище в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно заставить их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен, правда, Билл? — и он допил вино.

Сьюзен сидела, как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, кто-то из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу. Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь.

— Откройте!

— Это управляющий,— сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и командовал своим:— За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти,— сказал Мелтон.— Быстрей!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил всю комнату. Он ширился и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрей!

За миг до того, как исчезнуть. Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены, струилась как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое,— и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь никого! — закричал управляющий.— Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «crème de caca», абсент, вермут, текилья, а кроме того — 106 пачек турецких папирос и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука...

## Бетономешалка

Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттил — трус! Эттил — изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Эттил отсиживается дома!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттил опозорил своего сына, каково мальчику знать, что отец — трус! — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала его жена, словно холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттил, как ты можешь?

Эттил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.



— Я ведь уже пытался объяснить,— сказал он.— Вторжение на Землю — глупейшая затея, она нас погубит.

В окно ворвался гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу,— сказал Эттил.

Громкий стук. Тилла отворила дверь. В комнату ворвался тесть Эттила.

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришься навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте, — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу. — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут... О стыд, о бесечье!

— О стыд, о бесечье! — всхлипнули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспылil Эттил. — Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась — на пороге стоял военный патруль.

— Эттил Врай? — рявкнул голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили бесчисленные звезды; всякий раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались враспынную.

— Дураки, — шептал Эттил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки, навалом груженной книгами. Позади маячила фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории», «Научные рассказы», «Фантастические повести». Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять — стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник, нахмурясь, покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого — тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — закончил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и в самом деле на это способны — не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывались подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Не понимаю вашей логики. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отражат любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгорьшишь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Эттила толкнут в яму.

А в дальнем конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны были горечи и страха. Мальчик не шевельнулся, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, его опалило дыхание смерти. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника — в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве — придвинулось ближе.

— Чего тебе?

— Я пойду воевать,— сказал Эттил.

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь мы пожелаем доблестным воинам счастливого пути,— сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребяташки. Среди пестрой толчи Эттил увидел жену — она плакала от гордости, рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились, отдыхая, солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели,— прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе,— скорчив подобающую мину, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна,— думал Эттил.— Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим — наша прославленная ракета запыхает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну, а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?»

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоём существе, без чего нельзя жить и дышать,— все накрепко привязал к родному Марсу — и прыгнул прочь на миллионы миль. А сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. И мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса — мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения, вот часть тебя, которой так нужен покой.

Ибо теперь ты — лишь автомат без винтов и гаек, ты — труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили, и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладельный, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Эттил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

Как быстро все это получилось, думал он. Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясаю-

щим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не побывал на Марсе, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли, постигли их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...

- Орудия к бою!
- Есть!
- Прицел!
- Дистанция?
- Десять тысяч миль!
- Штурм!

Гудящая тишина. словно в ракете скрыт гигантский улей. Гудят и жужжат крохотные катушки в бесчисленных приборах, мелькают, вертятся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися и словно выплывшими глазами.

- Внимание! Приготовиться!

Изю всех сил держится Эттил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

*Ти-и-и-и!*

- Что это?
- Радио с Земли!
- Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

*И-и-и-и!*

- Вот они! Слушайте!
- Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.

- Добро пожаловать на Землю!
- Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?
- Да, да: добро пожаловать на Землю.
- Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно вещал голос. — Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

- Обман!
- Тс-с, слушайте!

— Много лет тому назад мы, жители Земли, отказались от войны и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. И мы только просим о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

- Этого не может быть! — прошептал кто-то.
- Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Эттил засмеялся. Все обернулись и в недоумении уставились на него.

— Он сошел с ума!

А Эттил все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

Толпа ахнула.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш! — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули свои трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно!

Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» — и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!»

Эттил и еще полсотни марсиан с оружием наготове прыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг Вич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убрали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замаять неловкость, возникающую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик»; при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели «Все они славные парни».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я считаю, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я этим землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — «БЛЕСК». Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг снова толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно околел. Его пуще прежнего была дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам ловушку.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет себя «другом» и «приятелем»? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой.

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, стараясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, «на дружеской ноге» — так это у них называется. Это огромное сборище самых обыкновенных людей, они равно благосклонны что к кошкам и собакам, что к марсианам. И все же... все же...

Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Даваясь и отплевываясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор... — стонал он и судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Эттил. — У них это называется кукурузные хлопья.

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, и штуку, которую они называют пирожное, — вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник. — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземлятся в других городах. Пора приниматься за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось — столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь — все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри кто-то украдкой хихикнул.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Это заговор, — прошептал Эттил. — Так и знайте, это заговор!

В жарком воздухе тянуло духами, пряные запахи неслись из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дивы, сидели женщины — волосы у них закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо и хитро; накрашенные рты алели ярко, как неоновые трубки. Крутили вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Вот они, злобные подводные чудища, вот они сидят в своих стылых пещерах в искусственной скале!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!

— Они накинута на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом и криком! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздались голоса.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый из вас обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт поberi!

Издаലെка долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Эттил с воплем кинулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера теней — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Пойдем, — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вам тут, на Земле, больше нечего делать?

— А чего тебе еще? — она подозрительно его оглядела, голубые глаза округлились. — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил смотрел на нее, раскрыв рот, потом спросил:

— А все-таки чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой «Подлер-шесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «Подлер-шесть», тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, я уж знаю. Была бы охота, можешь завести себе «Подлер-шесть» — и кати, куда вздумается, я уж знаю.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего...

— Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист! — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, уж будьте уверены. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму, — сказал Эттил. — Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомните, по доброте душевной! — и она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложив бумагу на коленях, он старательно вывел: «Дорогая Тилла!» Но тут его снова прервали. Чуть не под носом кто-то застучал в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность!

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горé. — Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю гибели!



— Кажется, вы правы,— дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли?— она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впиалась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю,— ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?!— крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да?— спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе,— сказала старушонка.— Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны — вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире?— спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого,— возразила она.— Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю,— сказал Эттил.

— Там покой,— продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй,— согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это, как сейчас, вижу,— сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего,— сказала она.

— Куда лучше,— подтвердил он.— Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.

— Вы что, мистер, насмежаетесь надо мной?

— Да нет же!— Эттил смутился и растерялся.— Я думал, вы это про...

— Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в когле, вы покроетесь язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место мало приятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмежаетесь, мистер!— разъярилась старушонка.

— Нет-нет, прошу прощенья. Это я по невежеству.

— Ладно,— сказала она.— Ты язычник, а язычники все невоспитанные. Вот тебе бумага. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без усталости шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придешь, придешь?

— Постараюсь,— неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!»

Изумленный Эттил снова взялся за письмо.

«Дорогая Тилла! Подумай только, я наивно воображал, будто земляне встретят нас пушками и бомбами. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины;

они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобные, живые, и все таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немислимые, необъятные *dergières*<sup>1</sup>. Глаза неподвижные, застывшие — ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей — ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в гигантскую бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль...»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — они превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли, замирают в застывшем желе. Автомобили сплюсциваются в этакие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах — кровавое месиво, и на нем жужжат огромные назозные мухи. Внезапный толчок, остановка — и лица обращаются в карнавалы маски. Есть тут такой праздник — карнавал в день всех святых. Мне кажется, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там, тесно обнявшись, лежат двое, еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуны и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока еще не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть некий Человек, и у него Рычаг, довольно ему нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, ведь я могу погибнуть при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына».

Эттил Врай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь на Марс? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно — если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровавое давление астрономических масштабов и совсем ослеп-

<sup>1</sup> Зады (франц.).

нешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек!

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживее, вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в машину. Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну, все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумашь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сажу сегодня дома — и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! **ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ**. А что для этого нужно? Консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас — и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— Но... — возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе такая книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения и...

— Э, да вы шутник! Так вот, как я это мыслю. Сперва шикарные кадры: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат и бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— Но у нас на Марсе города совсем не такие...

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем нам понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уж сказал, придется нашим марсианам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Этилл перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валий, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы все, как один, встречаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудак же вы там, на Марсе! Сразу видно — святая простота. Ты вот чтообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Заурядного Человека, Билл, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь — Сарояны. Этакое огромное многочисленное семейство благодушных Сароянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, Джо, и мы понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Наша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы — наши братья, вы тоже самые заурядные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал этот фильм — он, нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Это тоже, считай, миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли что еще можно придумать.

— Вот оно что, — сказал Этилл и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте — и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валий.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Этилл поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас... м-м ...Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Этилл перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... — Этилл хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы — Рик! Ох, забавно! Ну, совсем не похоже. Ни тебе огромных бицеп-

сов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоеует Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глаза. — Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джек: я давно подумывал — надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси — там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платя из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу? — воззвал Р. Р. Ван Пленк к небесам. — На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а...

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощенья. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города доносился гул — там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжкий нервный припадок: судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику какая-то женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города смутно долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления? А сколько покончат с собой?

Эттил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу: да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня; да, наши женщины — высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казино Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков, — да, не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока с неба не свалится неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война ужасна, но мир подчас куда страшнее.

Он стоял посреди широкой пустынной дороги.

Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцами, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эттил кинулся бежать. Машина настигала.

Да, да, устало подумал он. Как странно, как печально... и рев, грохот... точь-в-точь бетономешалка.

## Урочный час

Ох, и весело будет! Вот это игра! Сто лет такого не было! Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут. В небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты!

Мышка вбежала в дом, чумакая и вся в поту. Для семи лет она горластая и крепкая, и на редкость твердый характер. Миссис Моррис и оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигала ящики и сыпала в большой мешок кастрюльки и разную утварь.

— О господи, Мышка, что это творится?

— Мы играем! Очень интересно! — запыхавшись, вся красная отозвалась Мышка.

— Посиди минутку, передохни, — посоветовала мать.

— Нет, я не устала. Мам, можно, я все это возьму?

— Только не продырявь кастрюли, — сказала миссис Моррис.

— Спасибо, спасибо! — закричала Мышка и сорвалась с места, как ракета.

— А что у вас за игра? — окликнула мать, глядя ей вслед.

— Вторжение! — на бегу бросила Мышка.

Хлопнула дверь.

По всей улице дети тащили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой печной трубы.

Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с десяти, смотрели на все это свысока и уходили гулять подавшие или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались.

Тем временем отцы и матери разъезжали взад и вперед в сверкающих хромированных машинах. В дома приходили мастера — починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задушивший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали на озабоченное молодое поколение, завидовали неуемной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, были бы не прочь позабавиться с детишками, да солидному человеку такое не пришло.

— Эту, эту и еще эту, — командовала Мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложки, штопоры и отвертки. — Это давай сюда, а это туда. Не так! Вот неумеха! Так. Теперь не мешайся, я приделаю эту штуку, — она прикусила кончик языка и озабоченно наморщила лоб. — Вот так. Понятно?

— Ага-а! — завопили ребята.

Подбежал двенадцатилетний Джозеф Коннорс.

— Уходи! — без обиняков заявила Мышка.

— Я хочу с вами играть, — сказал Джозеф.

— Нельзя! — отрезала она.

— Почему это?

— Ты будешь дразниться.

— Честное слово, не буду.

— Нет уж. Знаем мы тебя. Уходи, а то поколотим.

Подкатил на мотороликах еще один двенадцатилетний.

— Эй, Джо! Брось ты эту мелюзгу. Пошли!

Джозефу явно не хотелось уходить, он повторил не без грусти:

— А я хочу с вами.

— Ты старый,— решительно возразила Мышка.

— Не такой уж я старый,— резонно сказал Джо.

— Ты только будешь смеяться и испортишь все вторжение.

Мальчик на мотороликах громко, презрительно фыркнул:

— Пошли, Джо! Ну их! Все еще в сказки играют!

Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался.

А Мышка опять захопотала. При помощи своего разномастного инструмента она сооружала непонятный аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, и та под ее диктовку выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали.

А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя и все метался по городу, по полям, по всей стране. В тысяче других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность, люди привыкли к миру и не сомневались: их больше не ждет никакая беда. На всей земле люди были дружны и едины. Все народы в равной мере владели надежным оружием. Давно уже достигнуто было идеальное равновесие сил. Человечество больше не знало ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожилось о завтрашнем дне. И сейчас полмира купалось в солнечных лучах, и дремала, пригревшись, листва деревьев.

Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа.

Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что ж, они с аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые. Она прислушалась.

Подле розового куста Мышка что-то озабоченно говорит... а кому? Там никого нет.

Станный народ дети. Другая — как бишь ее? Да, Энн,— она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ.

— Треугольник,— говорит Мышка.

— А что это — тре...гольник? — с запинкой спрашивает Энн.

— Неважно,— отвечает Мышка.

— А как оно пишется?

— Тэ... рэ... е... — начинает объяснять Мышка, но у нее не хватает терпенья.— А, да пиши, как хочешь! — и диктует дальше: — Перекладина.

— Я еще не дописала тре...гольник.

— Скорей, копуха! — кричит Мышка.

Мать высовывается из окна.

— ...у-голь-ник,— диктует она растерявшейся Энн.

— Ой, спасибо, миссис Моррис! — говорит Энн.

— Вот это правильно,— смеется миссис Моррис и возвращается к своим делам: надо включить электромагнитную щетку, чтоб вытянуло пыль в прихожей.

А в знойном воздухе колышутся детские голоса.

— Перекладина,— говорит Энн.

Затишье.

— Четыре, девять, семь. А, потом Бэ, потом Фэ,— деловито диктует издали Мышка.— Потом вилка, и веревочка, и шеста... шесту... шестиугольник!



За обедом Мышка залпом осушила стакан молока и кинулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу.

— Сядь сию минуту,— велела она дочери.— Сейчас будет суп.

Она нажала красную кнопку кухонного автомата и через десять секунд в резиновом приемнике что-то мягко стукнуло. Миссис Моррис открыла приемник, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила в чашку горячего супу.

Мышка ерзала на стуле.

— Скорей, мам! Тут вопрос жизни и смерти, а ты...

— В твои годы я была такая же. Всегда вопрос жизни и смерти. Я знаю.

Мышка торопливо глотала суп.

— Ешь помедленнее,— сказала мать.

— Не могу, меня Бур ждет.

— Кто это Бур? Странное имя.

— Ты его не знаешь,— сказала Мышка.

— Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?

— Еще какой новый,— сказала Мышка, принимаясь за вторую порцию.

— Который же это — Бур? Покажи его мне.

— Он там,— уклончиво ответила Мышка.— Ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!

— Что же, этот Бур такой застенчивый?

— Да. Нет. Как сказать. Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится.

— А кто куда вторгается?

— Марсиане на Землю. Нет, они не совсем марсиане. Они... ну, не знаю. Вон оттуда — она ткнула ложкой куда-то вверх.

— И отсюда,— Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный лоб дочери.

Мышка возмутилась:

— Смеешься! Ты рада убить и Бура и всех!

— Нет-нет, я никого не хотела обидеть. Так этот Бур — марсианин?

— Нет. Он... ну, не знаю. С Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем ему трудно пришлось.

— Могу себе представить!— Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку.

— Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю.

— Мы неприступны,— с напускной серьезностью подтвердила мать.

— Вот и Бур так говорит! Это самое слово, мам: не-при...

— Ой-ой, какой умный мальчик. Какие взрослые слова знает.

— Ну и вот, мам, они всё не могли придумать, как на нас напасть.

Бур говорит... он говорит, чтоб хорошо воевать, надо найти новый способ заставить людей врасплох. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага.

— Пятую колонну,— сказала мать.

— Ага. Так Бур говорит. А они всё не могли придумать, как заставить Землю врасплох и как найти помощников.

— Не удивительно. Мы ведь очень сильны,— засмеялась мать, убирая со стола.

Мышка сидела и смотрела в одну точку, словно видела перед собой все, о чем рассказывала.

— А потом в один прекрасный день,— продолжала она театральным шепотом,— они подумали о детях!

— Вот как!— восхитилась миссис Моррис.

— Да, и они подумали, взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве.

— Разве что когда собирают грибы или улиток.

— И потом он говорил что-то такое про мери-мери.

— Мери-мери?

— Ме-ре-ния.

— Измерения?

— Ага! Их четыре штуки! И еще говорил про детей до девяти лет и про воображение. Он ужасно занятно разговаривает.

Миссис Моррис устала от дочкиной болтовни.

— Да, наверно, это очень занятно. Но твой Бур тебя заждался. Уже поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей.

— Ну-у, еще мыться!— заворчала Мышка.

— Обязательно! И почему это все дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши.

— Бур говорит, мне больше не надо будет мыться,— сказала Мышка.

— Ах, вот как?

— Он всем ребятам так сказал. Никакого мытья. И не надо рано ложиться спать, и в субботу можно по телевизору смотреть целых две программы!

— Ну, пускай мистер Бур не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и...

Мышка пошла к двери.

— И еще есть такие мальчишки — Пит Бритц и Дейл Джеррик, мы с ними ругаемся. Они уже большие. И они все время дразнятся. Они еще хуже родителей. Даже не верят в Бура. Воображали такие, задаются. Потому что они уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом уьем.

— А нас с папой после?

— Бур говорит, вы опасные. Знаешь, почему? Потому что вы не верите в марсиан! А они позволят нам править всем миром. Ну, не нам одним, ребятам из соседнего квартала тоже. Я, наверно, буду королевой.

Она отворила дверь.

— Мам!

— Да?

— Что такое лог-ги-ка?

— Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться что верно, а что неверно.

— Бур и про это сказал. А что такое впе-ча-ти-тель-ный?— Мышке понадобилась целая минута, чтоб выговорить такое длиннющее слово.

— А это...— мать опустила глаза и тихонько засмеялась.— Это значит — ребенок.

— Спасибо за обед!— Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню.— Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно, правда-правда!

— И на том спасибо,— сказала мать.

Хлопнула дверь.

В четыре часа зажужжал вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился.

— Здравствуй, Элен! — сказала она.

— Здравствуй, Мэри. Как дела в Нью-Йорке?

— Отлично. А в Скрантоне? У тебя усталое лицо.

— У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Путаются под ногами.

Миссис Моррис вздохнула.

— Вот и Мышка тоже. У них тут свержхвторжение.

Элен рассмеялась:

— У вас тоже малыши в это играют?

— Ох, да. А завтра все помешаются на головоломках и на моторизованных «классах». Неужели году в сорок восьмом мы тоже были такие несносные?

— Еще хуже. Игнали в японцев и нацистов. Не знаю, как мои родители меня терпели, ужасным была сорванцом.

— Родители привыкают все пропускать мимо ушей.

Короткое молчание.

— Что случилось, Мэри?

Миссис Моррис стояла, полузакрыв глаза, медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Элен заставил ее вздрогнуть.

— А? Нет, ничего. Просто я задумалась обо всем этом. Насчет того, как пропускаем мимо ушей, и вообще. Незажно. О чем это мы говорили?

— Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку... кажется, его зовут Бур.

— Наверно, у них такой новый пароль. Моя Мышка тоже увлеклась этим Буром.

— Вот не думала, что это и до Нью-Йорка докатилось. Видно, перекидывается от одного к другому. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной, она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре, а она ведь в Бостоне. Всю страну охватило.

В кухню вбежала Мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась.

— Ну, как дела?

— Почти все готово, — ответила Мышка.

— Прекрасно! А это что такое?

— Бумеранг. Смотри!

Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка бросила шарик, пружинка растянулась до отказа... и шарик исчез.

— Видала? — сказала Мышка. — Хоп! — Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку.

— Ну-ка, еще раз, — попросила мать.

— Не могу. В пять часов вторжение. Пока! — и Мышка вышла, пощелкивая своей игрушкой.

С экрана видеофона засмеялась Элен.

— Мой Тим сегодня утром тоже притащил такой бумеранг, я хотела поглядеть, как он действует, но Тим ни за что не хотел показать, тогда я попробовала сама, но ничего не получилось.

— Ты не впечатлительная, — сказала Мэри Моррис.

— Что?

— Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Элен?

— Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым...

Лениво текло время. Близился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. А ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем побежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо.

— Кто это плакал, Мышка? Не Пегги-Энн?

Мышка что-то делала во дворе, подле розового куста.

— Угу,— ответила она, не разгибаясь.— Пегги-Энн трусиха. Мы с ней больше не водимся. Она уж очень большая. Наверно, она вдруг выросла.

— И поэтому заплакала? Чепуха. Отвечай мне, как полагается, не то сейчас же пойдешь домой!

Мышка круто обернулась, испуганная и злая.

— Да не могу я сейчас! Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду.

— Ты что же, ударила Пегги-Энн?

— Нет, честное слово! Вот спроси ее! Это из-за того, что... ну, просто она трусиха, задрожала — хвост поджала.

Кольцо ребятни теснее сдвинулось вокруг Мышки; озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков.

— Вот сюда и еще сюда,— бормотала она.

— У тебя что-то не ладится?— спросила миссис Моррис.

— Бур застрял. На подороге. Нам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут.

— Может, я вам помогу?

— Нет, спасибо. Я сама.

— Ну, хорошо. Через полчаса мыться, я тебя позову. Устала я на вас смотреть.

Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое кресло начало массировать ей спину. Дети, дети. У них и любовь и ненависть — все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Станный народ дети. Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Как знать... Может быть, ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?

Время шло. За окнами воцарилась странная, напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала.

Пять часов. Где-то в доме тихонько, мелодично пропели часы: «Ровно пять, ровно пять, надо время не терять!» — и умолкли.

Урочный час. Час вторжения.

Миссис Моррис засмеялась про себя.

На дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулась. Мистер Моррис вышел из машины, захлопнул дверцу и окликнул Мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся и постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо.

— Добрый вечер, дорогая.

— Добрый вечер, Генри.

Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат, все тихо. Слишком тихо.

Муж выколотил трубку и набил заново.

— Чудесный выдался денек. Живешь и радуешься.

Ж-ж-жж.

— Что это? — спросил Генри.

— Не знаю.

Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать — и не сказала. Смешно. Нервы расходились.

— Дети там ничего плохого не натворят? — промолвила она.

Может быть, они затеяли какую-то опасную игру?

— Да нет, у них там только трубы и молотки. А что?

— Никаких электрических приборов?

— Ничего такого, — сказал Генри. — Я смотрел.

Мэри прошла в кухню. Жужжанье продолжалось.

— Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже шестой час. Скажи им... — Она прищурилась. — Скажи, пускай отложат вторжение на завтра. — Она засмеялась немножко неестественным смехом.

Жужжанье стало громче.

— Что они там затеяли? Пойду, в самом деле, погляжу.

Взрыв!

Глухо ухнуло, дом шатнуло. И в других домах, на других улицах раздались взрывы.

У миссис Моррис вырвался отчаянный вопль.

— Наверху! — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая.

Быть может, она что-то заметила краем глаза; быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Некогда было спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай! С воплем она кинулась вверх по лестнице. Не понимая, о чем она, муж бросился следом.

— На чердаке! — кричала она. — Там, там!

Жалкий предлог, но как еще заставишь его скорее подняться на чердак. Скорей, успеть... о боже!

Во дворе — новый взрыв. И восторженный визг, как будто для ребят устроили невиданный фейерверк.

— Это не на чердаке! — крикнул Генри. — Это во дворе!

— Нет, нет! — задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. — Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!

Наконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд. Она не могла удержаться. Наружу рвались неосознанные подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебродили в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра и которые она так здраво, трезво и рассудительно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее.

— Ну вот, ну вот, — всхлипывая, она прислонилась к двери. — Тут мы в безопасности до вечера. — Может, потом мы потихоньку выберемся. Может, нам удастся бежать!

Теперь взорвался Генри, но по другой причине.

— Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ? Знаешь, милая моя!..

— Да, да, пускай рехнулась, если тебе так легче, только оставайся здесь!

— Хотел бы я знать, как теперь отсюда выбраться!

— Тише. Они услышат. О господи, они нас найдут...

Где-то близко — голос Мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг загудело, зашипело, поднялся визг и смех. Внизу упорно, настойчиво жужжал сигнал видеофона — громкий, тревожный. «Может, это Элен меня вызывает? — подумала Мэри. — Может, она хочет мне сказать... то самое, чего я жду?»

В доме раздались шаги. Гулкие, тяжелые.

— Кто там топает? — гневно говорит Генри. — Кто смел вломиться в мой дом?

Тяжелые шаги. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят пар ног. Пятьдесят непрошенных гостей вошли в дом. Что-то гудит. Хихикают дети.

— Сюда! — кричит внизу Мышка.

— Кто там? — в ярости спрашивает Генри. — Кто там ходит?

— Тс-с. Ох, нет, нет, нет! — умоляет жена, цепляясь за него. — Молчи, молчи. Может, они еще уйдут.

— Мам! — зовет Мышка. — Пап!

Молчание.

— Вы где?

Тяжелые шаги, тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это Мышка их ведет.

— Мам? — Неуверенное молчание. — Пап? — Ожидание, тишина.

Гуденье. Шаги на лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех — легкие, Мышкины.

На чердаке отец и мать молча прижались друг к другу, их бьет дрожь. Электрическое гуденье, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой, нетерпеливый голос Мышки — все это, непонятно почему, проняло, наконец, и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке, и его трясет.

— Мам! Пап!

Шаги. Негромкое гуденье. Замок плавится. Дверь настежь. Мышка заглядывает внутрь чердака, за нею маячат огромные синие тени.

— Чур-чур, я нашла! — говорит Мышка.

## Ракета

Ночь за ночью Фиорелло Бодони просыпался и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стирки. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами.

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Это уносятся в дальний путь неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Ну и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

На самом берегу безмолвно струящейся реки, на корзине из-под молочных бутылоч, сидел старик и тоже следил за взлетающими в полумночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Надо же воздухом подышать.

— Вон как? Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь. Одни

богачи делают, что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, НОВЕИШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ! Как же! Восемьдесят лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья... — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки, — оборвал старик. — Вот богачам, тем всё можно — и мечтать и в ракетах летать.

Бодони помолчал.

— Послушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Для своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слушаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решил окончательное. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! — Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к господу богу. Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие — и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут, как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего.

— Но...

— А допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет, — что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей реке. Нет уж, Бодони, купи себе лучше новый резальный станок, без него тебе и впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку — в глыбине мелькали отражения пронсящих по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не сомкнул глаз. Беспокойно спали дети, рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату вбежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по шесть пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Паоло.

— Она взлетела и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.  
 — Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.  
 Дети с недоумением посмотрели на отца. Он не часто повышал голос. Бодони поднялся.  
 — Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.  
 Дети восторженно завопили.  
 — Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас.  
 Так кто полетит?  
 — Я, я, я! — наперебой кричали дети.  
 — Ты, — сказала Мария.  
 — Нет, ты, — сказал Бодони.  
 И все замолчали. Дети собирались с мыслями.  
 — Пускай летит Лоренцо, он самый старший.  
 — Пускай летит Мириамна, она девочка!  
 — Подумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария.  
 Но глаза ее смотрели как-то странно и голос дрожал. — Метеориты, как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.  
 — Чепуха. Ты тоже умеешь.  
 Всех била дрожь.  
 — Ну, так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.  
 Каждый по очереди сосредоточенно тащил прутик.  
 — Длинный.  
 — Длинный.  
 Следующий.  
 — Длинный.  
 Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.  
 Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.  
 — Теперь ты, Мария, — прошептал он.  
 Она вытянула прутик.  
 — Короткий, — сказала она.  
 — Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью и с облегчением. — Мама полетит на Марс.  
 Бодони силился улыбнуться.  
 — Поздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.  
 — Обожди, Фиорелло.  
 — На той неделе и полетишь, — пробормотал он.  
 Дети смотрели на мать — у всех крупные прямые носы, и все губы улыбаются, а глаза печальные. Медленно она протянула прутик мужу.  
 — Не могу я лететь.  
 — Да почему?!
 — Я должна думать о будущем малыше.  
 — Что-о?  
 Мария отвела глаза.  
 — В моем положении путешествовать не годится.  
 Он сжал ее локоть.  
 — Это правда?  
 — Начните сначала. Тяните еще раз.  
 — Почему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.  
 — Да как-то к слову не пришлось.



— Ох, Мария, Мария,— прошептал он и погладил ее по щеке. Потом обернулся к детям.— Тяните еще раз.

И тотчас Паоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс!— он запрыгал от радости.— Вот спасибо, папа! Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Паоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь?— неуверенно спросил он.

— Правда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Паоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли.

— Никто не полетит,— сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее,— сказала Мария.

— Браманте прав,— сказал Бодони.

После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, не разъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься, как рыба об лед, чтоб выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прекверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз?— рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо!— Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Понятно, она не настоящая,— сказал Мэтьюз.— Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал — шепну тебе по секрету. Ну что ж...

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Понятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела...

— Ясно.

— Если я и куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Понимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий...

— Привозите вашу ракету,— сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше,— сказал Бодони.— Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бодони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты.

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя,— сказал он.— Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места, пускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок.

— Пожалуй, сегодня я в ней и переночую,— взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гуденье становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликovalo, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони летали над пультом управления, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотится, вот-вот выскочит.

— Старт!— пронзительно кричит он.

Т о л ч о к ! Г р о м о в о й р е в !

— Луна!— кричит он.— Метеориты!— кричит он, не видя, изо всех сил зажмутив глаза.

Н е с л ы ш н ы й г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы й п о л е т в б а г р о в о м п л я ш у щ е м з а р е в е .

— Марс, да, да! Марс! Марс!

Задыхаясь, он без сил откатнулся на спинку кресла. Трясающиеся руки сползли с пульта управления, голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша; реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Перед ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, золотились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету, и на огни своего дома, и глаза его то становились как щелки, то раскрывались во всю ширь. Потом он оставил резак и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться. Они только кричали, перебивая друг друга.

Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она. — Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.,

— Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторил Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...

— Погоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и токи; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-престарых автомобильных моторов. Потом запаял отсек наглухо, чтоб никто не мог подсмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солище уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она. — Какую уж там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Послушай, Мария...

— Она взорвется. Да тебе с ней и не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку.

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Не бойся.

— Погубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята! Пойдем со мной.

— До свиданья, мама! До свиданья!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед.

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — это очень быстрая ракета. Мы будем в полете только неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах и на ощупь. С м о т р и т е. З а п о м и н а й т е. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Со свистом закрылся входной люк. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки, пристегнул ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт!

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Летим! Взлетели! Смотрите!

— Вот уже луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверком проносились метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя отец помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня; у детей уже слипались глаза. И, наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку.

Люк распахнулся. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали?

Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось, — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета, и тклет волшебный сон. Содрогается, и рычит, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза. И мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не нарушало волшебства. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел без помех.

Он проснулся.

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс.

— Папа! — дети старались вырваться из гамаков.

Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье!

На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома, — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие. Быть может, они поняли, что сделал отец. Быть может, разгадали чудесный волшебный обман. Но если и поняли, если и разгадали, никто ни словом не обмолвился. А сейчас они со смехом бежали к дому.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидела Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Поздно ночью Бодони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа

рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскрикнул он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю.

Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть... может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной летаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко — пожалуй — сказал он.

— Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

## Пешеход

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он был один или все равно что один; и, наконец, он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, слышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начини он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали ярче, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, по-

добрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там,— шептал он, проходя, каждому дому,— что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и не шевелиться, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретишь человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что? В доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут был особенно неровный. Асфальта совсем не было видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облачками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже походили на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стыло в лунном сиянии.

Он свернул в переулок пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как замороженный, двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, так? Еще год назад, в 2052, в год выборов, полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, и он не мог разглядеть людей.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полице-

ская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла — жука в коллекции.

— Можно сказать и так,— согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. «Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам»,— подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий,— прошипел механический голос.— Что вы делаете на улице?

— Гуляю,— сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю,— честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет?— молчание, только что-то потрескивает, и уже самая эта пауза — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат,— произнес жесткий голос за спящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась,— с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы просто гуляли, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью?

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимались?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид,— сказала она.

— Это все?— учтиво спросил Мид.

— Да,— ответил голос.— Сюда.— Что-то дохнуло, что-то хлопнуло. Задняя дверца машины распахнулась.— Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Ми-стер Мид!



И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо ветрового стекла, он заглянул внутрь. Он так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жестокостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атактистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатилась по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой, на одной только улице во всем этом городе темных домов, — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи не было больше ни звука, ни движения.

## Пустыня

«Итак, настал желанный час...»

Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неумоимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпеж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе — голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревоушителей, проповедников, гадалок, глупцов, школяров, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час —  
И мы летим, летим на Марс!  
Пять тысяч женщин в небесах  
Творить сумеют чудеса!

— Такую гесенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чуточку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую — не больше спичечной — коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Окорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец — длинейший, нескончаемый список! А теперьхвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часиков — и будешь сыт, странствуя не просто от Форта Ларамии до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодез. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго, долго она задыхалась в том чулане — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков. Совсем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Вездна и падение. Вездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную пустоту. И только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им, наконец, о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, углубленную шахту — в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма — и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и, наконец, дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — она подошла, наконец, к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полутемной комнате оно казалось призраком.

— Странно это... выйти замуж на другой планете.

— Пойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по световому за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле...

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернуться. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на северо-американском континенте, который омывают два океана — с одной стороны Атлантический, с другой Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они боялись посмотреть в лицо этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис.

Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты... И все, все останется позади! Ну зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Потом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетаю на другой край вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура душой.

— Ну и я буду душой, — сказала Леонора и поднялась. — Пойдем-ка погуляем на прощанье.

Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выход.

— Пойдем.

Отворили, наконец, дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царил небывалое, оживление. То ли распускались огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное ночное

небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались палаточные городки, похожие на странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу разрумянившиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невесты? — сказал им продавец за стойкой.

— Два молочных коктейля, пожалуйста, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться молочным коктейлем.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.

— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решила лететь. Я тебе сразу не сказала. Посмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

— «Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать. Уилл».

Леонора еще постукала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом, а вокруг алены цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на Улице вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе всмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не найдешь на Земле. Почва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывая уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплым желтым прямоугольником светится окно гостиной.

— Молодчика Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает.

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора — пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевой бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат гравизащитные куртки — очень удобный наряд, стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, понеслись над городом.

— Все равно куда, — сказала Леонора. — Куда глаза глядят.

Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полную яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги — еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под лунной стрекочущих вертолетах, и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко...

Они парили над городом, уже отдаленным, хотя они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых и ярких огней... и все же город был уже недосыгаем, уже только видение, затянутое дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Покачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощанье в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамках освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, перекинутся голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце...

«Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать лет: весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлопнется черная дверь».

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал, и дом Джейнис им тоже сулил покой и сон, но обоим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий?

— Да.

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Лучше бы это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не одно, так другое — отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяла: «Алло, алло!» В большом далеком городе техник готовился включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждали — одна, вся побелев, сидела с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже не было ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем только звезды и время — нескончаемое ожиданье, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегают от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и распылит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошел стезжками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис!

Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту.

Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот... я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась...

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь, когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если б какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров и на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

«Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светфона потрескивало — само пространство говорило

с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слова захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли — как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— ...люблю...

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнцу, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора.

У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, это была радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Она сидела и вслушивалась, и даже не заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в нем — дыханье долгих странствий среди мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи, но неведомое время без границ и пределов; а потом голоса смолкают, заглушенные то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

«Так вот как бывало столетие с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат волю, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи наполнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дорогу, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убежали вперед и в страхе прибежали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот так было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?»

Дремотные мысли путались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался «Вальс веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Поцелуй еще разок!» Он повернул за угол — «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошавевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап,— сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только вас не хватало,— сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь,— сказал психиатр и нахмурился.

Что-то в комнате было не так. Он ощутил это еще в дверях. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся.

— Вас удивляет, что тут так тихо? Просто я кокнул радио.

«Буйный»,— подумал врач.

Арестант прочел его мысль, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдаёт теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента: необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — мистер Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворительно кивнул.

— Прежде, чем мы начнем...— мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал крепче — крак! — и вернул ошеломленному психиатру об-



ломки с таким видом, точно оказал и себе и ему величайшее благодеяние.— Вот так-то лучше.

Психиатр во все глаза глядел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, должно быть, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент.— Как поется в старой песенке. «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем?— спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой — одной из первых — был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запахал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

— М-мм,— промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает — просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел этого говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует — позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Черт побери, ни минуты покоя. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане, едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет: жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штучек, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старику Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом какой-то чужой дядя орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуете в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так — вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стенку. В тот день в конторе я и сделал, что надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! Вот было весело! Стенографистки забегали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило — я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Гринхилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

Врач помолчал.

— И что же дальше?

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки! Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машину и улыбаюсь, и чувствую: в ушах — мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался — это была Свобода!

— Продолжайте!

— А потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую. А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятый!» А репродуктор орет «Сказки венского леса» — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про свои лакомые зернышки. И тут я включаю свой диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брызжанья замученных за день мужей. Все мужья отрезаны

от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. Тишина! Пугающая, внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравятся радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном, конституционном порядке. В конце концов у нас же демократия!

— А я — так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И все меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод — не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край. Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплескал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня из таких, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов! Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» — или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с сигареты — мигом всосет. О боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать». Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую серединку механической яичницы — и плите пришел конец. Ох, как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Потом завопил телефон, прямо как капризный убуджок. И я сунул его в поглотитель.

Должен вам заявить честно и откровенно: я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил телевизор, эту коварную бестию! Это Медуза, которая каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, сирена, которая поет, и зовет, и обещает так много, а дает так ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобрелет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять проделал бы то же самое, верно вам говорю.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, оттого, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м... — Психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в эту игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянкам — и запуталось и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я собираюсь полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду себе сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал мистер Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пасакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана

сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком,— отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола закрипел словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

## Дракон

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь: тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородастых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность,— отвечает тот, другой.— Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище, боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Т-с-с... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.

— Страшные наши места, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу — ночь. И уж тогда, тогда... господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются враспынную и, обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу — а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах; не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затая страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносит неведомо откуда; мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане, мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряющих бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окомом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась, и густела, и медленно оседала в мозг. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих в смутном времени душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!...

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, взревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипенье, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые

огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорей!

Они прищипорили коней и поскакали к ближней лощине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами; руками в железных перчатках подняли копыя.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на господя.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел всюду, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся! Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

## Конец начальной поры

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена — и, глядя в вечернее небо, ощутил на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул, незачем было смотреть на часы. Ощущения его минутно менялись, он казался сам себе то глубоким стариком, то маль-

чишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и четкими движениями громкий стук сердца, внезапные всплески страха — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, которое так быстро заполняют звезды.

И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рукоятку косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не уместается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой.

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы, как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал! А почему? Потому что, наконец, понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю — чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах...»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Воб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость божья». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав.

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю, в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцаая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.



Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и засыпали. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем раке-ты, почему сегодня? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ.

Пять минут, подумал он. Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это — конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковре-самолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рожденья или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, в самую невероятную минуту и секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и, как-никак, делают нам честь.

Три минуты... две минуты пятьдесят девять секунд... две минуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

Две минуты, подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» — окликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы! Готовы!» — чуть слышно доносятся быстрые отклики из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!»

Сегодня! — думал он. Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и, наконец, громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор, как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем

смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человечу не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и обречем уверенность, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и надо уж хотя бы хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву. Одна минута.

— Одна минута. — сказал он вслух.

— Ох! — жена порывисто схватила его за руку. — Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им...

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не глядя, муж и жена пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули их. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головоккружителей россыпей Млечного Пути. Муж и жена держались друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— Все сошло хорошо, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все хорошо. Они, наконец, разняли руки.

Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня поberi, — сказал он. — Черт меня поberi.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глущину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинки огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рукоять косилки. И заметив, что сжимает рукоять, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно.

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед сном, посидим немножко на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься за рукоять и ведешь ее вперед, колеса вер-

тятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Кружение колеса — и неслышная поступь раздумья.

Мне миллионы лет от роду, сказал он себе. Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу.

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то оmyвает животворный родник вечной молодости.

И, омытый, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая и летит, и ее уже не останить.

Потом он скосил оставшуюся траву.

## Икар Монгольфье Райт

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса, — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотне шагов отсюда меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?

— Постой-ка! — подумал он и передернулся и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал. Надо наверняка! Прежде всего кто ты такой?

Кто я? — подумал он. — Как меня зовут?

Джедедия Прентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис... Джедедия Прентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь! С воплем спящий пытался его удерживать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал дол-

го, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце — и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахала пены над пурпурными волнами прибоя. В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя.

И к а р.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

И к а р.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожся, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, ко от моих костей перья станут крепкими, от моей крови оживет воск.

— И от моей крови тоже и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное, — чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

М о н г о л ь ф ь е.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

М о н г о л ь ф ь е.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и измывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполняясь мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавлении он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого азростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Р а й т.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбур? Орвил? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный вертолет жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршанье песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хоук».

И натянется на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки, — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селеньями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, а потом — все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за собою эхо полета, и отзыв, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

Сейчас, прошептал он, сейчас я проснусь. Еще минуту...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая воспламениться, — ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок, и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы.

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — «Китти Хоук», 1903. Окончил курс Земли, переведен на Луну с божьей помощью сего дня 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени, — этого он тоже не знал. И не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

## Были они смутные и золотоглазые

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Шелкнула и распахнулась дверь. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло,

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри,— сказала жена.— Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Пошли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу — и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу, с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель,— бодро рассуждал он.— Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Я не знаю,— сказал Дэвид,— может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! Битеринг поглядел в окно.— Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь.— Он посмотрел на детей.— В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь, воспоминания.— Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы.— Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия.— Он помолчал.— Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится,— сказал Дэвид.— Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула.— Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упали атомные бомбы! Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики,— начал отец, глядя поверх их голов,— мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем,— сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.



А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне тайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе все называли по-новому.

Битерингу стало очень, очень одиноко — как не ко времени и не к месту он здесь, в саду, как нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять задумался об именах и горах. Земляне переименовали все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Осseo. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю,— растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай — и пахнет не так, как прежде. — Битеринга обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смори, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидел. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отравка. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекошились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернусь.

— Гарри, стой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживааетесь тут, как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, сделайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?»

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слышали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слыжать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!

— Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зашвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье!

— Ну, чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Разве вы не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

— Сэм,— сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Поможешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

— Сэм,— вдруг сказал тот,— у тебя глаза...

— Чем плохие глаза?

— Ведь они у тебя были серые?

— Право не помню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?

— А почему ты спрашиваешь?

— Потому что они у тебя стали какие-то желтые.

— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.

— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.

— Может, оно и так.

— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?

— У меня? Голубые, конечно.

— Держи, Гарри,— Сэм протянул ему карманное зеркальце.— Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх, ты,— сказал Сэм.— Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри,— напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть,— сказал он.— Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я об-

ращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут,— говорил он, разворачивая чертежи и кальки: на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри,— беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воеет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— *Йоррт*,— повторил он.— *Йоррт*.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка.— Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко,— засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем,— сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда!

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть,— сказала жена.— Ты совсем ослаб.

— Да,— сказал он.

Взял сэндвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни,— сказала Кора.— Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем. прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть на часок,— уговаривала Кора.— Поплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал, весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу.

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые,— сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — он засмеялся.— Поплывать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

Полежать так подольше, думал он, и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

Там, наверху,— безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута,— сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся.

— Ты же знаешь. Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну, пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совсем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых все еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо.

— Куда это?

По пыльной улице движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду,— подхватывает другой.— И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет по-прохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать,— повторил Битеринг.

— Отложи до осени,— возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задышающееся.— Нет, нет!

— Осенью,— сказал он вслух.

— Едем, Гарри,— сказали ему.

— Ладно,— согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело.— Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала,— сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы,— сказал Сэм.

— Ладно,— сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя.— Пускай Пилланские.

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр,— на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило,— сказала мать.— И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель,— сказал он немного погодя.— Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка поглядела с недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой,— заметил он.— Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать — прощай! Чувство было такое, словно

уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.

И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем селении землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедem, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твои *лле*, — сказала она. — Твой *йор юеле рре*.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы прилетели вам на выручку!



Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. У них очень темная кожа. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это — одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

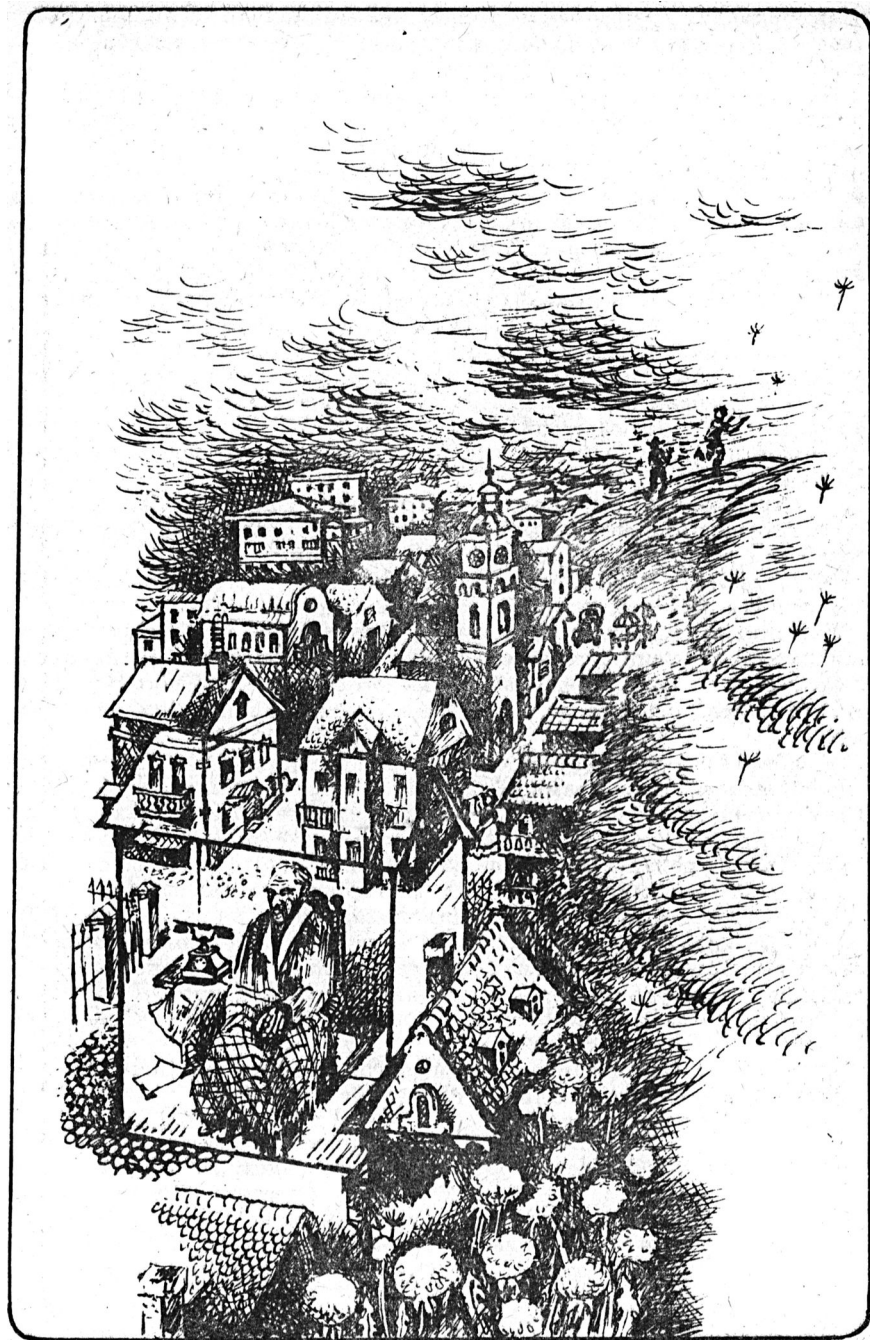
Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна, и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколот кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдаль, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!





ВИНО ИЗ  
ОДУВАНЧИКОВ

4

*Уолтеру А. Брэдбери,  
не дядюшке и не двоюродному  
брату, но, вне всякого сомнения,  
издателю и другу.*

\* \* \*

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже — во всем городе не было башни выше — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня...

— Вот здорово! — шепнул он.

Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевевший ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячьо цыплят!

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды. Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем вставать!

Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте олады!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядя, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сараа фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконы глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей. — Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, сучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. Вот то-то, думал он: только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето.

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами.

Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

\* \* \*

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, — так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и всё до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, — Дуглас вздрогнул, — день этот какой-то особенный. Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел,— сказал отец.— Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас!

Дуглас встрепенулся.

— Опять витаешь в облаках,— сказал отец.— Спустись на землю и пойдем с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и незримые плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым — отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

Что-то должно случиться, подумал он, я уж знаю.

— А вот папоротник, называется «Венерин волос».— Отец неторопливо шагнул вперед, синее ведро позвякивало у него в руке.— А это, чувствуете?— И он ковырнул землю носком башмака.— Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю, как индеец,— сказал Том.— Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настойчиво прислушивался. Мы окружены, думал он. Что-то случится! Но что?— Он остановился.— Выходи же! Где ты там? Что ты такое?— мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше,— негромко сказал отец.

И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? Все равно, улыбнулся отец, все это кружева, зеленые и голубые; посмотрите хорошенько, и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок. Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее. Хорошо при случае послушать тишину, говорил он, потому что тогда удается услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да, да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями водопадом летят птичье щебетанье!

Вот сейчас, думал Дуглас. Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!

— Дикий виноград,— сказал отец.— Нам повезло. Смотрите-ка! Не надо!— ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что надвигалось, подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обгаренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведро чуть не доверху наполнено диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы,— это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец; а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то, что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать.

— Я понимаю, пап.

Ведь уже почти случилось, думает Дуглас. Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом.

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получается!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому, что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает, никак не утомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультипликационных про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженого...

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Папа рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот

раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

Замолчи! — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а оно подходит все ближе: значит, оно не боится Тома, Том только притягивает его, Том тоже немножко оно...

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать, — ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба, — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и устоялся на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его и они замерли, только сердца колотились, да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все, как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что неожиданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

Я ЖИВОЙ, — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые. Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мест — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пу-



шистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птички, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

Я и правда живой, думал Дуглас. Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню.

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десять! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом и вот тебе — тут, под деревом сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку и они вновь покатились по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

— Ясно, знают! А ты как думал?

Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так, — прошептал Дуглас. — Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас восторженно вскрикнул. Папа знает, — понял он. — Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает. И теперь он знает, что и я уже знаю.

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, восторженный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и с удовлетворением облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра, — сказал он. — Сегодня я хочу один всё тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.

Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. Хочу почувствовать все, что только можно, думал он. Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после.

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо,— пробормотал Дуглас.— Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город...

\* \* \*

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и точно капитан оглядывал широкие недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного.

— Дедушка, они уже созрели?

Дедушка поскреб подбородок.

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — наверняка. Да, да, хороший урожай. Сбирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощенные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают уговону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются,— сказал дедушка.— Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазу дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дождался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрой, быстрой — и пресс мягко стиснул добычу...

— Ну вот... вот так...

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрей, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить,— вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы

после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру, и даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютной зимы побежит жаркое лето...

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в боценок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и слепит весь мир, и у людей захватывает дыханье,— даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чиханье, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки,— всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое, прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству,— все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс,— как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую, как мир, опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полохатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город вырастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, ложиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — дегище корабля, смываемая неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распаханной овражной пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и, наконец, рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие уголья костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой; из года в год человек похищает что-то у природы, а природа

вновь берет свое и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек, и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплутся в прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг!

Голоса затихли вдалеке.

— Я живой,— сказал Дуглас.— Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места — и наконец понял.

\* \* \*

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина,— сказала мама.

— Ага,— буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап,— выпалил он.— Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и поставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап,— сказал Дуглас,— это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерят теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткнут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим,— сказал отец.— Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наконец, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует всю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. А если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу.— Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги,— посоветовал отец.— Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные, от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. **ИЩИ ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ ВЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ, ЛЕГКИЕ, КАК ПУХ!**

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту, заветную тропку...

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаянья.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел.

— Ну, лет десять назад, или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас. — Вы мне продаете одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Это было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично, — и он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, подпрыгайте, поскочите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уж не дадут никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вот сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам, как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками — словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и, наконец, застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло уж наверно десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.



— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну, как туфли? — с интересом спросил старик.

Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настезь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад к цивилизации...

\* \* \*

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это — только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну, как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую ещё ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва жи-

вешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целостности и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — и друг друга они не поймут»<sup>1</sup>. Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда<sup>2</sup> мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого, и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое, и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок...

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

\* \* \*

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец,

<sup>1</sup> Слова из баллады Киплинга. — *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Празднуется в Америке в первый понедельник сентября. — *Прим. перев.*

очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или тявкают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать.

Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много москитов.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в оступающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробы, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелиятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают

в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения moskitov и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды: всегда, до окончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому, по бархатной лужайке, и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него, и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

\* \* \*

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты и в прах возвратишься». Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать

будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья!

Все засмеялись.

— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы, и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели...

Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю... сделаю...

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по черной каменной улице, круто сбегающей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм вселенной? Кончается ли завод в этих исплинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало...

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девочкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Нозми, — младшему было пять, старшему пятнад-

цать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!

Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Чтонибудь случилось? — тотчас спросила жена.

\* \* \*

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф: сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчики скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалась и сказала Тому:

— Сбегай, возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, спросил Том, и мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и, как был, босиком побежал по теплomu вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взяв ледяной пакет, потерял об него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы, — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама все еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала: — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, укутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарница-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— Погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгих две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно ступил ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась и мама сказала:

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах — никаких признаков жизни, ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки. Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу. Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого, что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он, месяц спустя, стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще



смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храбрый, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безыменное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым — вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло его холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей, каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, леденящее мгновение — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. Господи, не дай ей умереть, молил он. Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...

Мать двинулась по тропинке в дику чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся, — дрожащим голосом сказал Том. — С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем. — Голос матери звенел от

напряжения.— Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

**БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ.** Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как трясина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудовище, имя которому — Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся как прибой холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки всё молчат, звезды опустились так низко, что кажется, протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженней ожидание. Ох, как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама!

И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарлин Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступала, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась пожить, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама. От ее страхов и следа не осталось. Том знал — она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо. А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу над виадуком, потом внизу, по долине прогреготал поезд, он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь...

Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство. Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка, Дуг,— прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал.

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздались шаги — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет.

И не ошиблась.

\* \* \*

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу, и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, — таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина... — сказала она наконец. — Не нужна она нам.

— Да, — отозвался он, — но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница и он ворочается в постели всю ночь напролет и душу его грызут заботы, а все равно твоя

Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан и вечно рождает соль и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

Не забывай, говорил он себе, и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины.

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

\* \* \*

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взялась.

Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пенье птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

Великое чудо — косилка, говорил себе дедушка. Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы — и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы.

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долго философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжанье косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и по-

ставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка, — сказал он наконец.

— Иди, посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, — сказала бабушка. — Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор.

Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то, — сказал он. — Вчера купил новые семена. Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзин с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака.

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. — Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. — Он непочтительно пнул корзинку ногой. — Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому, что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до иступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым.

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго

отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращать с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать, один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атласу, у которого на плечах вращается земной шар. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака.

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглохнет и клевер, и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застёжку и извлек три бумажки по пять долларов.

— Билл, вы только что совершили невыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр. — Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжанье этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку.

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттиера<sup>1</sup> и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедуш-

<sup>1</sup> Уиттиер (Whittier, 1807—1892) — американский поэт, прозаик, журналист, автор абсолюционистских «Передовиц в стихах» и многих религиозных гимнов. — *Прим. ред.*

ка лежал в кровати и вдруг вздрогнул — с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжание.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неутомимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул.

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой.

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто.

Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и наконец на запад, и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

\* \* \*

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна уместаться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста.

Лео захопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказала Лина. — Ну, а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось.

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалуюсь, — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се, да как это... задумается такой — и падает с трапеции в цирке, либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух.

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейшина, отвертки... Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, слышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман спотыкаясь побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно, Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок.

Вот так штука, подумал он, уже лежа на полу.

Но тут его обволокла тьма и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.



Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы улышаться летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье — высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы, величиной с чашку, и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Постойте-ка, — громко сказал Лео. — Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся.

И он опять откинулся на подушку.

Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео, — негромко сказала она. — Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбежать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и прихивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за двери слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыханье прибоя у далеких-далеких берегов...

Завтра мы испытаем Машину, думал Лео Ауфман. Все вместе.

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило. Далеко, в другой комнате кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет... нет... — всхлипывал он. — Все кончено... кончено...

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок.

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, взглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей». Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», — а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены — одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй, докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо,— сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул,— возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

— Ну, пожалуйста,— сказал он.— Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку!— закричал он.

Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа,— с тревогой позвал Саул.

— Слушай!— ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глупине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось?— спросила Ноэми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот!

Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!..— Голос был изумленный.— Нет, вы только посмотрите! Это Париж!— И через минуту:— Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс!— шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет!— с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует,— поведаль миру Лео Ауфман.

— Чудеса!— сказала в Машине Лина.

Лео Ауфман покраснел.

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа.

И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья.

Улыбка сбежала с губ изобретателя.

— Она плачет,— сказала Ноэми.

— Не может этого быть!

— Плачет,— подтвердил Саул.

— Да не может она плакать!— и Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины.— Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

— Постой.— Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам.— Дай мне доплакать.

И она еще немного доплакала.

Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе!— всхлипывала его жена.— Ох, как тяжело, прямо сердце разрывается... Она вылезла из Машины.— Сначала там был Париж...

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видать.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.

— Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез.

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.  
— Завтра же сведу тебя на танцы!  
— Нет, нет! Это не важно, и правильно, что не важно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну, а еще что плохо?

— Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там, внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывает, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул.

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула.

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья!

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники; наконец гараж с грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она. — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Многое передумал я за один только час. И я сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает: не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь.

— А пожар... — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что захотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы, Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платья для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта: там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю

с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и, наконец, со спокойным одобрением, он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме — то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

\* \* \*

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем, по знаку прабабушки — едва она мигнет или подожмет губы — все вскидывали цепи и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот, — приговаривала прабабушка. — Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра, — восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь, вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе, — и бабушка ударила по коврику.

— А здесь ты пролила сметану, — и прабабушка выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытоптан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие. Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали, — это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разубавятся еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор— хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно все-таки видеть всякие вещи,— говорит Том.

Дуглас подозрительно смотрит на него.

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом.— Хлоп!— Наша улица!— Хлоп!— А вон то, черное — овраг.— Хлоп!— Вот школа.— Хлоп!— А вот эта чудная закорючка — ты, Дуг!— Хлоп!— Вот прабабушка, бабушка, мама...— Хлоп!— Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков!— ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень,— сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет.— Хлоп!— Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидеть. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз!— погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой.

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки,— вставила прабабушка.— Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно,— загадочно сказал Том.— В эту сторону нитки, и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры.— Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион,— сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны: пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет, как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверно, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сэндвича,— сказала мама.

— Нет, Машина счастья,— возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда земля, повернувшись от солнца, накренится к черным безднам вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта!— сказал Том.— Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том.

Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе, и пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных...

\* \* \*

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке, — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты, — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо: это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят и Джон был еще жив... А вот Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон только что умер..

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число... и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, заставшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дома полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, —



свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и окликнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая и мне ничуть не жарко. Я, наверно, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени, — пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть «Джейн». Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху «Элен». Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля, — улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая, — сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, — сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис.

Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое... Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо, — заметила Джейн.

— Конечно нехорошо. Очень плохо, — подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут — тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн?

Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза.

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. — Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой.

Миссис Бентли выпрямилась и застыла.

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Пойдите, — сказала миссис Бентли. — Вы что, не верите мне?

— Не знаю, — сказала Джейн. — Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы, — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну, конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же как всем зам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли.

Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро без толку спорить с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите, — все еще смеясь сказала Джейн. — По правде, вам никогда не было десять лет, да?

— Ступайте домой! — вдруг крикнула миссис Бентли, ей стало нестерпимо под их взглядами. — Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья! — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том поплелся за ними. — Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыкала чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери, в надежде поймать этих дерзких дьяволят — уж наверно они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем... если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только, — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. — В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая... почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж, нет!

Ей, казалось — дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там не шевелясь добрых полчаса.

Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету.

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо,— приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, по ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет,— объяснила она.

Джейн повертела гребенку в руке.

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет,— продолжала миссис Бентли.— Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот,— сказала она.— Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните,— и старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже,— просто сказала Джейн.— Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис.— Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать,— сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить,— возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет,— вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодой,— и Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно поселилась и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — и Джейн подмигнула Тому и Элис. — Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку. — Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да, да, придет день — и вы станете такими же, как я!

— Ну нет,— ответили девочки. — Ведь правда, этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите,— сказала миссис Бентли.

А про себя думала: господи боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами.

— Вот ты,— обратилась она к Джейн,— неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет,— ответила Джейн. — Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала, и все кричат: «Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой,— сказала Джейн. — Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбежали по ступенькам). — Отдайте! Это все мое!

— Не надо,— попросил Том, догоняя девочек. — Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите,— сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию,— думала миссис Бентли; она стояла на крыльце и вся дрожала. — И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет.

Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! — ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом.

— Дети правы, — сказал бы он ей. — Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иглой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но миссис Бентли упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет, — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. — Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят, ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была, — говорил он. — Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка, — сказал бы он. — Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. За чем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю... Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу, — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. — Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьми вот это, — и она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина. — И это, и вот это. — Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. — Берите все, что хотите, — говорила миссис Бентли. — Книжки, коньки, куклы, все... Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем, — сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь открывалась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь, наконец, они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?

— Никогда.

— А как вас зовут?

— Миссис Бентли.

— И вы всю жизнь прожили в этом доме?

— Всю жизнь.

— И никогда не были хорошенькой?

— Никогда.

— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?

В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа.

— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

\* \* \*

— Ты приготовил блокнот, Дуг?

— Конечно! — и Дуглас хорошенько полизал карандаш.

— Что у тебя там уже записано?

— Все обряды.

— Четвертое июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха, вроде того, как на веранду вешают качели, да?

— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— Какое же это лето, это еще весна.

— Все равно, это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шестого июня. Бим-бом, бири-бом, побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудной обряд, может про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?

— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!

— Думаю.

— И что?

— Правильно. Никто не поймал. И не поймает, наверно. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает, — сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой. — Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что...

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтoб мне провалиться! — воскликнул Дуглас. — А я и не додумался! Вот это да! Ясно, как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда, это как-то грустно? — задумчиво сказал Том. — И уж тут ничем не поможешь.

\* \* \*

— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди.

Дуглас всмотрелся в старый дом.

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную, темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей!

Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит,— шепнул Чарли.— Он говорил: прямо входи и покричи погромче. Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было, что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где — планки и шарниры. А еще в комнате были грубые досчатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый,— прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать,— негромко и очень гордо сказал Чарли.— Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь.

Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же...— начал было Дуглас. Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить,— Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику.— Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закряхтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу,— словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон,— подсказал Чарли.— Девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый...— Полковник нахмурился.— Ну да, конечно. Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить...— Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера...— Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье,— говорит Чин Линсу.— Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.



— «Готовься, целься, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад крошечный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово, так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом..

— Поуни Билл... — Полковник ощупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии... «Шш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловеющая бурая туча, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миля в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-тарарах, грохочет гром. Так и громыкает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был, как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось на небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету — и тут я их увидал, клянусь вам, увидал своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны и буйволы!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана-негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них, как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту...

Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй!» — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу, или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к лю-

дям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли, — и полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики.

Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох, и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику. — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну, еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце, вроде бы, вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну, а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антайтем, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антайтем.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Булл Ран, спроси его про Булл Ран...

— Я там был,— очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма,— мечтательно сказал полковник.— Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потوماке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннюю лунную палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потوماке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...» А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет: «Видели мы воочию — господь наш нисходит с неба; он попирает лозы, где зреют гроздья гнева»... По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя: «Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш, Авраам, триста тысяч воинов идут», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...»

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да.

Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени,— пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил, почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишеских голов на пустую стену.

Чарли встал.

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел. Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр?

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой.

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да сэр?

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну, конечно, Машина времени!

— Да сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите, когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пффф,— запыхтел Джон.— Сейчас уеду в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у! Пффф, пффф.

— Ага, верно,— сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом.— А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу,— задумчиво согласился Джон.— Вот это было путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка,— сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

\* \* \*

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот, смотри: Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика и — поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами,— пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли, зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз поспею на экспресс полковника Фрилея! Вот, слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бентли и спорит, но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово, Дуг. А что это значит?

Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой ничем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том,— шепнул Дуглас.— Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидать все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он

говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде — и верно, так оно и есть! Он и сам в нем ездил, и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, глядите в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом, когда-нибудь, сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже сможешь, как полковник нам помогает. Вот как оно получается. Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может да, а может, и нет.

— Дальние путешествия, — прошептал Том.

— Одно я точно знаю, — сказал Дуглас, закрывая глаза. — От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

\* \* \*

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче. Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжелой ношей, чтобы их не задела громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца... Стараясь перекричать этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!

— Мы, наверно, его убили! И, наверно, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!

— И тот ужасный коммивояжер из Гампорт Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла...

## ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала, как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт Фолса, его напомаженную голову осеняет панама. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она жужжа подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это... (он нажал грушу, раздался отрывистый лай)... это сигнал.— Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки.— Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.)— Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом устоялся на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! (Он пренебрежительно щелкнул пальцами.) Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда и вам понадобится друг; друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнувшая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине.— Его дыхание мягко касалось их лиц.— Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она... то есть...— Младшая сестра отпила глоток ледяного чая.— А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая!— Машина описала грациозный круг, точно тур вальса.— В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции».— Машина упорхнула, с мягким рокотом по-

катила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта! — Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устал и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно, и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшно. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина жужжа проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня... — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление.

Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще

их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье.— этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигналив изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.

— Осторожно!— взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно!— взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно!— взвизгнул мистер Куотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили!— горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгушалась тьма.— Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш!— Обе прислушались.

Внизу опять кто-то стучался в дверь.

Потом стук прекратился и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжело вздохнули.

Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день,— устало сказала наконец Роберта.— Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту,— сказала мисс Ферн.— Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер?— спросила мисс Ферн.

— Мистер Куотермейн?

Молчание.

— Кто же еще...

Роберта ответила не сразу:



— Посмотрим в вечерней газете.

Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину... А в ней так приятно ездить... видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо...

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и, наконец, принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту.

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали...

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковородке, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется...— Ферн долго не отрывала глаз от стены,— нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла.

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве... разве мы должны... совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?

Ферн подумала.

— Это, наверно, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи.

В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички!— крикнул он.

Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обоим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох, уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать?— спросил он добродушно.

— Да, сейчас.

Ферн накрыла на стол.

Во дворе рявкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.

— Это еще что такое?— Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту.— Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось?— строго спросил Фрэнк.

— Оставь ее в покое!— закричала Ферн.

Фрэнк удивленно поднял брови.

Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта и все трое сели ужинать.

\* \* \*

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток.

В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.

— Эй!

И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй,— сказал Чарли,— куда это мы едем?

— Последний рейс,— ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода.— Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому — покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке...

— Напоследок?— переспросил ошеломленный Дуглас.— Да как же так? И без того все плохо, Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет... Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпают, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно,— подхватил Чарли.— Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно,— сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов

дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесменпарк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад,— сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся!— И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора.— Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по дугам, усыпанным дикими подсолнухами; мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному,— говорил Дуглас.— Ездил я в Чикаго на автобусах: у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит,— сказал мистер Тридден.— Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзины с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзины на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты изо всех сил трубили в свои медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребяташки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво... Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит... Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

Тридден натянул перчатки.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где

торгуют мороженым. Присмирившие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзины! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

— Что ж... До свиданья, мистер Тридден!

— Всего вам доброго, ребята.

— Еще увидимся, мистер Тридден.

— Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрал длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках; свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая в обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть, Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие залиют рельсы горячим варом и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно трещит крыльями на заре одна-единственная огромная стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели...

— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

\* \* \*

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки, умел прыгнуть прямо с неба,

как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые, как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда — отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке, как вкопанный, и посмотрел на него.

— Погоди-ка: что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду... ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух... Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи! Как же это так вдруг? Весь век ты был, тут, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали...

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых... Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду.

Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — мжет, он всей своей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.  
— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?  
— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.  
— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.  
— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон.  
— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твой край. Вот будет здорово!

Джон долго молчал.

— Давай, поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.

— Про что?

— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц, и еще позже. Про богомоллов, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал, — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнециков.

— А раньше хотелось!

— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверно, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный...

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искривилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?

— Конечно!

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть. Дуг, с чего эти окающие окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что... — Он говорил медленно, запинаясь и путаясь. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал... А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города — и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми, Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками колени. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью,

в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай. Ну? Какого цвета?

Дуглас бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся.

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже непохоже.

Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе.

— Ну ладно.

Джон открыл глаза.

— Зеленые... — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза зеленые... Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти светло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду.

Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бежали по холму, и кричали, и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услышал, как далеко-далеко, в иных землях идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время тоже бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг — хват! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай!

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа!

И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать,— отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться.

Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута — и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо!» — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре,— сказал Джон.— Бой-скаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов.

Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу,— объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке,— сказал Джим.— Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С хохотом размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки вновь стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно,— сказал Джон.— Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?



— Я,— сказал Дуглас.

— В жизни не слышал, чтобы кто сам вызвался водить,— сказал Том. Дуглас пристально поглядел на Джона.

— Разбегайтесь,— сказал он.

Мальчики с криком кинулись врассыпную. Джон попытался, потом повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделиться, кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из вида, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно, медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли, как статуи, другие мальчишки, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый, и никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и колени и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас уgomонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево... А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыхание.

— Ну, Джон,— сказал Дуглас,— смотри, не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа.

Губы Джона шевельнулись.

— Дуг...

— Замри,— приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти,— шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой,— сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опускали затекшие руки.

— Сыграем еще разок,— сказал Джон.— Только теперь водить буду я. Разбегайтесь!

Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли, Дуглас тоже.

— Не шевелись! Ни на волос! — скомандовал Джон.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится, — сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще на три минуты всем застыть, как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока, — сказал он.

Что-то зашуршало и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

Стой! Он прижал руку к груди. Перестань! Не хочу я это слышать!

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное, как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

Самое лучшее — статуи, подумал Дуглас. Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь.

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не приезжай, никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь? Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной, яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять, и опять твердил себе: «Я зол, как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол, зол, как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

\* \* \*

— Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно?

— Обещаю. А что это?

— Конечно, ты мой брат и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?

— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?

— Ну... ясно... и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свались.

— Вот еще! Дурак, я, что ли?

— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.

— Бороды! Ух ты!

— Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом и чтоб с тобой ничего не стряслось.

— Уж будь спокоен, — ответил Том.

— Да я в общем не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как бог управляет миром.

Том задумался.

— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

\* \* \*

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец — она его сильно порезала, когда брала себе ломоть кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила.

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот такходишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо, думая о другом.

— Ну, выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице...

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги, от фирмы Джонсон-Смит, город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... дай-ка вспомнить... — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. — «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, проверенные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или... — он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова, — белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов!»

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, фокусником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных практических и т. д. и т. п.» Уф! Ей-богу, голова у меня — как у папы римского! Все слова помню, хоть и ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдала книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу, да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасливо потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И, не разбирая дороги, кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти кости сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он уже ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том.

Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который укалывал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудуотер. Колдовство!

— Колдовство?!

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидывай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудуотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развевается от ветра занавеска.

— Здравствуйте,— произнес спокойный голос.

И вдруг за сеткой от moskitов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том... Какими судьбами?...

— Не торопите меня! Вы, говоря, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?

Миссис Гудуотер улыбнулась.

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос!

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сами сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! Стану колдуньей, сказала я ему, и хлоп! — Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверно, вы имеете в виду Сэндвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну, уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сэндвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слышали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чудо! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не известно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не унимается; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягните, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всякого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы,— сказала Эльмира.— А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери.

— Я покупаю разные волшебные травы. Они очень странно пахнут и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая, а вот эта — копытенъ, а та — сарсапарель. Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей! — Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут, — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Пойдите, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно: вы хотите стать председателем нашей клубной организации, да? Вот уже десять лет вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну, тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз на самые выборы, я ужасно простудилась; надо проводить свою предвыборную кампанию, а я как на зло не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибла коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку, все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— Да-а, как подумалось, что вы прожили уже тридцать пять лет... — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семсот семьдесят пять дней... стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс, вы всего лишь вторая. Вы и сесть толком не можете, непременно стул повалите. Встать со стула вы тоже не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кеноше или Сионе. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце.

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательнее и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!

Ведьма прелюбезно улыбнулась.

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у вас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка, домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она.

Вошла в дом и заперла дверь на крюк.

Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. — В последний раз вам говорю: снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надеетесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит...

— Замолчи, Том! Хороший — значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда

миссис Гудуотер будет председательницей клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА»! — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зиммити-ЗЭМ! Ну, как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер.

Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том.

Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий. Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз; да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру), сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ.

Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

— Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.

— А? — отозвался спросонок муж.

Эльмира улеглась в постель.

— Я умирать не желаю.

— Как ты сказала? — переспросил муж.

— Ни за что не умру, — говорила она, глядя в потолок.

— Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С виду — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.



— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью. Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела. Сэмюэл Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтоб наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечесть. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь, — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девятиностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Ну, разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два впереди.

Клуб «Жимолость» был полон; дамы гляделись в зеркальце, взятое у приятельницы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел — это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый несчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол и все дамы умолкли; разговаривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни, — прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребешки, — настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога...

Слушательницы захихикали.

Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю, — прошипел Том; глаза у него были закрыты и толчок локтем обрушился на него из темноты.

— ...супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэла Брауна... (в зале опять смех)... служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прошу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, залопнул, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблуками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой; вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом и никто ее не слышал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей и сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветряной оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира.

— Это я! — и миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... — Она умолкла. Пошатнулась. Пстом мигнула. — Во мне винный камень и... во мне желтые цветы травы-ястребинки и молоко, заквашенное при свете луны, и... — Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла

рот и издала какой-то странный звук, словно чревоушательница. И опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила туда несколько тертых морковок и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и...

Она вновь умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика... — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома. Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции... — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер.

Одна из дам встала и открыла окно.

— ...сушеный лист бетеля, лаванду и семечко дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и... — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «Да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкативший к горлу.

Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне.

В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу... Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду.

Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забежали кругами, натывая друг на друга, — точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер прямоком кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он. — Донижу целых сорок ступенек.

И после, многие месяцы и годы спустя люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни

одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание и потому все ее мышцы были расслаблены и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец, она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно табуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. Два-три дня она как-то странно неподвижно держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собиравшись остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете... Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну, скажите что-нибудь и сядьте! И пойдемте вверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побегал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Все ни к чему.

И, пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

\* \* \*

— Что уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано, — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал дёру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство, как пить дать!

— И ты в это веришь?

— Середка наполовинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! — И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважнецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы... — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

\* \* \*

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг с яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать и наконец яблоки начинают сыпаться, как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз... И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму...

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец он дрожащими пальцами поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с дверей своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда оно пронзало острой болью его мышцы и ребра, он слышал этих мальчуганов внизу... как их зовут?... Чарльз, Чарли, Чак, да! И Дуглас! и Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник... Полковник...» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899.

И далекий, но удивительно ясный голос:

— Буено.

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять? Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Гринтауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздался шаг — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор...

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: режут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет, идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи...

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полый халата. Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.

— Не сейчас, — сказал полковник.

— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — Сиделка улыбнулась.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растревожили?

— Ничем.

Она обвела взглядом комнату и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу.

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скажут вокруг вас...

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О буйволах, о бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье,— сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться.— Она откатила кресло в другой конец комнаты.— А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели он не отрываясь глядел на телефон.

— Я сбегая на минутку в магазин,— сказала сиделка.— А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойнее, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин... разговоры... разговоры... Буэнос-Айрес... и Лима... и Рио-де-Жанейро...

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился — они совсем тонкие! Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще... В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Bueno!

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор,— сказал далекий голос.— Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик.— В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе,— продолжал старый полковник.— Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это в самом деле будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на

стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и, наконец, открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем, и слабое, отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «*Loteria Nacional para hoy*»<sup>1</sup> и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отраднo слышать голоса и шум и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут...

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук — на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипенье кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может лишь непрерывное, то угасавшее, то вновь нараставшее гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль...

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходить!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному невтерпех. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем, да и бросим его?

— Так ведь он болен!

— Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся и...

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук.

Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

<sup>1</sup> Сегодня розыгрыш национальной лотереи (*исп.*)



\* \* \*

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм!

Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линксльн, и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов... И никаких не будет солдат и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба<sup>1</sup>; и Чин Линсу не будет! Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они все умерли, Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут?

Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм, — негромко сказал Том. — Бумм, бумм.

Потом закричал вслед брату.

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну, ладно. Как хочешь. — Он улегся на пушке и прищурясь поглядел вдоль корявого ствола. — Бумм, — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. — Бумм!

\* \* \*

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребке, а вот готов и июльский. Теперь остается только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все

---

<sup>1</sup> То есть Авраама Линкольна. — *Прим. перев.*

совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, подумал он. Почему же она ни капельки не ярче других?

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?

Где же, где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или по крайней мере кажется, что нет.

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях, и если бы долететь до Созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пылью пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрелы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну-единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, заполыхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого июля. Этому придется поверить.

И все же... вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и однако в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйолов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло...

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков — кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обегу три раза вокруг квартала, пять раз перекувырнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй!

Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувырнусь — и хватит, подумал Дуглас на бегу.

\* \* \*

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым, и не составит ли ему кто-нибудь компанию? Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимоном и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер прервал его:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэр,— подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные края, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторы на окнах, плетеные стулья... Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек,— сказала она Биллу Форестеру.— Вы, я вижу, наделены и вкусом и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы не посмели бы отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба,— продолжала старуха.— Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине — похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдингов,— сказала она Дугласу.— Голова у тебя точь-в-точь как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю,— ответил Билл Форестер.— Вы — Элен Лумис.— Он чуть замялся и прибавил:— Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала.— Старуха спокойно набрала ложечку мороженого.— Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим это до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты, какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят... да семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж.— Она поднялась.— Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду,— сказал Билл Форестер.

И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло,— ведь он как будто об этом и не думал вовсе,— очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к уютному плечою крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и выдавшая виды трубка,— в огромном зеленом саду перед свежевыкрашенным трехэтажным домом

в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, — сказал он, подходя к ней. — Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо, все-таки, старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем еще глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая?

Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал белую лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной дурой и только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут на зло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна,

и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет, эдак, на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе,— добродушно сказала мисс Лумис.— Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят, как вы,— большая редкость,— сказал Билл.

— Бог ты мой,— серьезно промолвила она,— Да неужто молодые женщины станут говорить, как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого еще слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверно, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк,— сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии — вовсе не подходящая для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь,— сказала мисс Лумис.— Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И, если угодно, пробегите сегодня вечером, часов в одиннадцать по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир...— начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она про-

тянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку... а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса... а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру, и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и, наконец, замирает вдали...

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул.

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой...

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникала лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис.

Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — можно приспособиться, отбросить лишнее... — а про себя думал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис.

Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, этого делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

Лебедушку, конечно, подумал он, и, наверно, она прочла это слово по его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наводнились слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать; его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да?

Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходить.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж, — Билл согласно кивнул.

— Итак, — начала она, — на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю...

Она стоит на мосту и глядит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе считают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели, — сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да, но ведь на свете столько молодых девушек...

— В вас есть все, чего недостает им, — доброта, ум, остроумие...

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной. — Она умолкла и перевела дух. — Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была... ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замаялся.

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатавают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного по-

молчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыханье душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и неожиданные. И все это — теплота дыханья и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии.

Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну, вот и все. Не выпить ли нам еще чаю?

Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу.

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты, — за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь, — сказала мисс Лумис. — Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так стремительно, что, казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была еще сумасбродней его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неумный, и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и однако всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь



считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице «Роберт! Роберт!» — не обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, яркая зелень листья потускнела, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком буквы за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала, — сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите. — Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. — Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте.

Он сел.

— Дорогой мой Уильям, — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. — Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. — Она предостерегающе подняла руку. — Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому, что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть — вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. — Мисс Лумис махнула рукой. — Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, женщина, которая прошла в эту дверь, имеет такое же право на уединение, как женщина, которая удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно, — выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел... — ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души. — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности это — ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую

жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим, и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — престранная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажила на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несоответствие. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А покуда — непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все, что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнится пятьдесят. Я знаю, это не так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками, — ведь, правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девяностом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговоятся. А потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Тоже? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле, Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать...

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под лунной белой-белой, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и куда ни глянь, мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала в кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бежит по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавают в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь — Четвертое июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и когда гаснет в небе последняя ракета, одно девице лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом...

Голос ее все не смолкает, день на исходе и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издали может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька...

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали; Дуглас и не пытался заговорить — чутье подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу... потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои ручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая, разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя и, наконец, выговорил их вслух, и снова повторил:

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

Дуглас, Том и Чарли тяжело дыша бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в песках, которые показывают на утренниках по субботам.

— Ну, это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу, Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. Наутро встанешь и, может, все пойдет — хуже некуда. Но тогда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и, как полежу немножко, все опять станет хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Лумис.

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже миллион лет — про это, да? Ну, а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал и я под конец сообразил, что к чему, и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом, мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу и играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли. Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий моросящий дождик брызнул навстречу с огромного кирпичного здания; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

## ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было.

«Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова, и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в аммиач-

ных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но не забытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними всюду светило солнце, а лица опять и опять оведало холодное дыхание зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них заоченели — пришлось вернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно.

— «Ледяные дуновенья, леденящие туманы», — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А, может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и уплывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота. — ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб... Душегуб...

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — Чарли широко ухмыльнулся. — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

\* \* \*

Часы на здании суда пробили семь раз. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, огороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг; следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма.

Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды.

— В кино «Элита», смотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния.

— Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня захватим пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния.

За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыхание летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежее испеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело... Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллинс, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел...

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коммивояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удушенными, и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамомашиной, которая ни днем, ни ночью не знает покоя; там непрестанно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамомашина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния. По этим ступенькам и через мост... а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна, и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоём доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай, пойдем напрямик.

— Я боюсь!

— Еще рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже.

Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканье лягушек и напоенную тонким пенем москитов тишину. Они пробирались сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели...

В певучей тишине ночи, под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватила за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами; лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину, а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами металась пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверное, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли прочь от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели, как льдинки; и ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы дойдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше. Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы настороженно припиралось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где остались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния взглядела в свои часы, словно они были бог весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из голо-

вы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет... твоя подруга... и моя...

— Ей мы уже ничем не можем помочь; значит, надо думать о себе.

Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораясь им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг.

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый, как мел, от лунного света, и не отрываясь глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина.

Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промышчал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Нейбс.

— Ну, наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притопывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы... — начала было Франсина.

Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох. Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она... умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, — сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет. Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подруги пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут, и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопушками и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов, — и вдруг детей точно вымело с улиц, они побросали все свои игры и разбежались по домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только



брошенные хлопущки валяются в лимонных и земляничных лужицах растаявшего мороженого. Странно: душевные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех, — ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И, словно кулак обрушился на клавиши органа, все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знает себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — сказала Лавиния. — Если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.

— Как не стыдно! — и Франсина истерически зарыдала.

Улыбка сбежала с губ Фрэнка.

— Прошу прощенья, я никак не думал...

— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слышали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаєте по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите...

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите, посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И, что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов земляных мятных конфет, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хоро-

шенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто такая?» — «Да это ж Лавиния Неббс», — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша», — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал... «Да на Парк-стрит», — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто не подумавши. А вот сейчас, как услышал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого.

Все как завороченные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну, вот что, — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз в овраге нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит, нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесте чего навывдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивой всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет... — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко поговорчивей, ты бы уже даным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу сорок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости. Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу

было немного. Три подружки уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция прислала нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лавиния, — прошептала Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном свете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — и Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и смеясь слизнули ванильные усики от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен.

Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подружки вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен: бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я думала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, малины, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала...

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, верно, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает, вот увидите. Правда, фильм чудесный?

Улицы были пусты — легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, униженные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов провожали девушек, а они шли по

улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну, эта публика, из витрин...

— Ох, Франсина!

— Не знаю...

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только троим, и стук их каблуков по спешащему асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте, и когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи, — возразила Лавиния. — Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния, — сказала Франсина. — Ведь из всех нас ты — самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно несло куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь, — предложила Лавиния.

И они запели «Свети, свети, осенняя луна...»

Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках, и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, думала Лавиния, все живое забилося в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по

остывающему ночному асфальту. И над ними светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени.

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада... будет так весело!— Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо,— сказала Лавиния.

И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала,— сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла,— всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам.— Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну, тогда спокойной ночи, спокойной ночи!

Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен,— сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустыми улицами, над пустынными усадьбами и пустыми палисадниками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать,— считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно?— спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за закрытыми дверями. Ведь сейчас, наверно, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда...

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь,— ответила Лавиния.— И мне, наверно, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво, Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем, так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете!

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светилось, где-то лаяла собака. Через пять минут я буду уже дома и в безопасности, думала Лавиния. Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой...»

Лавиния прибавила шагу.

Голос пел: «Я тебя обниму... и своей назову...»

В тусклом лунном свете по улице лентовой, беспечной походкой шел человек.

Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь, думала Лавиния.

«Под июньской луной жду свиданья с тобой», — пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой.

— Ва, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди?

Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь вам придется идти через овраг...

Да, думала Лавиния, но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?

— Ничего, — сказала она. — Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь, — предложил он. — Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался под фонарем и опять замурлыкал свою песенку.

«Ну вот, — сказала она себе.

Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-сити. И на всем этом пути — только один фонарь. Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, думала она. — Ничего со мной не случится за какие-нибудь сто восемьдесят секунд.

Она начала спускаться по бесконечным позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь шептала она.

— Это уже пятая часть пути, — объявила она себе.

Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно-черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; закрытые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушивалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели. И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил вселенную.

— Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

Ничего там нет, думала она, держась за сердце. Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать? Сердце понемногу успокоилось.

Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки.

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я прос- то дура. Тридцать семь, тридцать восемь... девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— Погоди, — сказала она себе.

Сделала шаг. Раздалось эхо.

Еще шаг.

Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной, — шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке. — Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает.

Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага. Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг, против обыкновения, застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И, может быть, где-то за тысячи миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая вечность, одинокий путник читает сейчас газеты

при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверно, просто дятел стучит по дулистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю, точно белое море, полное теней.

Скорей, скорей! Все ниже по ступенькам.

Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит, бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная...

Он догоняет, не оборачиваясь, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!

Она бежала по мосту.

Господи боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох, как темно, и все так далеко! Если я даже закричу, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну вот, конец тропки, вот и улица; господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

Ну вот, крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блестит в темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад. Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно, как ни в чем не бывало... и...

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

Открывай же, скорей, скорей!

Дверь распахнулась.

Скорей, туда. Захлопывай!

Она захлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу стихал.

Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома!



Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп!

Выгляни в окно.

Она выглянула.

Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. — Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. — Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю... И на веранде никого нет, и во дворе тоже... Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте. И все-таки, как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?!

У нее за спиной кто-то откашлялся.

\* \* \*

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли.

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли в свою очередь не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю вовсе, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда скорая помощь вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка Лавиния Неббс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай он спокойненько ее душит?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дома, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб! Душегуб!», а он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то

хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я... — начал Дуглас и умолк.

Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли.

Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже и мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? И этот похож на лотошника — знаешь, который вечером перед кино торгует конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидал пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не выдали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно...

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи выгнутые и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютелька в тютельку.

— Ну вот. — Том фыркнул. — Вы же видели этого беднягу, которого вывели из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал, и те какие-то рыжеватые... Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу, — сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо ты вовремя выручил. Август будет не совсем пропащий. Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой, — шептал он. — Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу.

— Послушай, Дуг, что же это я натворил?

Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить... Я его чуть не выпил...

Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неумоимо сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неумоимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины.

Но теперь...

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка.

Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь, наконец, под чертой выводилась самую последнюю, окончательную. Она начинала индеек, цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, заводила часы, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали усталости — весь день они утешали чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и... старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела... — сказала прабабушка. — Что-то я хотела...

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни, и начала умирать.

И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно, — шепнула она.

Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя

развалится весь дом. Нам надо приготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том...

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы слышать шепот.

— Том,— слабо, издалека шептала прабабушка.— В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, Том, когда те же ковбои начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти напрямик к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и уйду, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не наскучила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу?

Каждую весну, в апреле — так повелось с незапамятных времен, — на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас,— прошептала она.— Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овевает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай...

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепенулась.

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет.

Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею,— сказала она.— Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку... Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки

ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть-поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь — быстро, пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот,— говорит прабабушка,— вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду, и за уборку в чуланах, и пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает, что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец,— только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь — уходите все и дайте мне уснуть...

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше.

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда просыпаясь по утрам, она нежилась в кровати, расправляя еще не окрепшие косточки.

Когда-то очень давно, думала она, мне снился сон, и он был такой короткий, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Постойте-ка, дай сообразить... — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем, бишь я?... — думала она. — Девяносто лет... Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот... Да, вот оно. — Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечнозеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее, и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже кроватью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неугомонная жизнь.

— Все хорошо,— прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух, ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как завороченный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

**НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ ЧТО:**

...взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными... или кончают свою жизнь в гараже...

...или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз...

...или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда...

**НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:**

...они уезжают...

...чужие люди умирают...

...знакомые тоже умирают...

...друзья умирают...

...люди убивают других людей, как в книгах...

...твои родные тоже могут умереть...

**ЗНАЧИТ...**

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул; опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. **ЗНАЧИТ,** — он дописал огромными, жирными буквами:

**ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ И БРОДЯГИ И ПРИЯТЕЛИ И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ, ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАВУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ... ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА... ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ... ДОЛЖЕН...**

Но тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

Все равно я сейчас больше не могу писать, подумал Дуглас. Больше я сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня.

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтоб мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли, точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук, как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть...

\* \* \*

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, яблоко в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя! Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма, что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратик — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощанье уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу.

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты пытаешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. Потому, что потому кончается на «у».

Потому что... огни галереи затуманились... потому, что...

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека...

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнущую известью мужскую комнату и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: сколько людей, которых я знал, умерли этим летом... Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему, умерла — и кончено. И это еще не все... (Он запнулся.) А я? Нет, они не могут убить меня! Да, сказал голос внутри, да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь... «Я не хочу умирать», — беззвучно закричал Дуглас. Все равно придется, сказал голос внутри; хочешь не хочешь, а придется.

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу: ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ...

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальмами у нее — людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался, и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая, — сказал он.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку.

Ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно!

Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полувскрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, и «Электрический стул за грош» тоже разладился, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику.



— Эй ты! Давай работай!

Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась... Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окачуриться...

— Ну, пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыханья оно затуманилось. Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало...

Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадалая карта.

— Она ожила! Она опять действует!

— Дуг, а что там, на карте?

— То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай.

И Дуглас прочитал:

Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!  
Только дурак хочет умереть!  
То ли дело плясать и петь!  
Когда звучит погребальный звон,  
Пой и пляши, дурные мысли — вон!  
Пусть воет буря,  
Дрожит земля,  
Пляши и пой,  
Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!

— И больше ничего? — спросил Том.

— Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».

— Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает?

И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдунья хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие. Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну, обыкновенная пустая карта, мы потереяли всего одно пенни — подумай, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и эдак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни плохо — друзья исчезают, людей убивают и хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю, и сегодня тоже. Здесь все прочно, незыблемо, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая пленка, и начинается погоня — отчаянно мчатся отчаянные бандиты, только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакового волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовой аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочитать свою судьбу, и даже в тех, которые прочитаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в мире людей, можно отдать время, деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно подержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит, как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер — стукни кулаком по мешку с опилками изо всех сил и сразу увидишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если

понадобится, по всему миру. Или еще — стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорей опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом верху — значит, ты даже сильней робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда застынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат...

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозит убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидал — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще не ушли? Постой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка...

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас. И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письмена... слово, два, три...

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было!

Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять: «Secours! Secours!»<sup>1</sup> А потом кто-то

<sup>1</sup> Спасите, на помощь! (франц.). — Прим. перев.

сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, душень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась... — Тут Том увидел лицо Дугласа и запнулся. — Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова...

— Там еще стояло «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка — предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там — воск, уж такой-то старый, наполовину растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут, за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почему ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, залет лицо воском, и будем мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете, — сказал Том. — Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он... постой-ка. — Том вытащил из кармана несколько монеток. — Ага, этого, наверно, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и Сыщиков», — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже, верно, будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет?

Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух.

Том подождал пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно; лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке закрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась, да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыханье.

— Это я, старушка,— сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тс-с!— шепнул Том.— Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и Сыщиков». Мистер Мрак как услышал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытаращил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь; в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упилился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?

Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и, конечно...

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск... и вот теперь... вот она и...

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли...

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж, нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну... может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака. — В последний раз, черт бы тебя побрал, я тре-

бую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная, как рыба, а человек помирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Уж ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас. — Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак. — Лгунья, лгунья! Вст тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею. — Мистер Мрак!

— Дуг! — закричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и взгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверно, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тыфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклопанной преграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятья, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда пробили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он поминутно отступал в сторону и прятался в скользящей тени деревьев. И прислушивался, и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пуглей вылетел Том и мигом догнал брата.

— Дуг, я застрел потому, что боялся — вдруг он... ну, в общем... а потом он ожил и стал ругаться... Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что, Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... — Дуглас пере-

бил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.  
— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он подумал: а в самом деле, к чему? — и медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило... будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплут и совсем негде будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте... и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертями, и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и...

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку палили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатались по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков.

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные ручищи вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятьями метнули, точно из великанской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятья, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла.

Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил!

И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся, и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался. Поглядел на брата.

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи его сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову, и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да, ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между гудами золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему...

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасили огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею на картонном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— ...все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел.

Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали, все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.



— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит, совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенские косточки, вроде птички. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона...

— И никакого механизма? Давай, вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица-итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала... и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи-смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная — и, пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы лучше разглядеть слова.

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо.

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас... И еще там будет сказано: «Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля! Только дурак хочет умереть! То ли дело плясать и петь! Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли — вон!» И еще: «Том и Дуглас Сполдинг, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том, вечно. И никогда не умрем...

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты,— чуть слышно сказал Том.  
И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:  
— Эй, ты...

\* \* \*

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:  
— ...девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— ...тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать...

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься...

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том. — Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочат цикады за пятнадцать секунд. — Он поднял вверх свои дешевенькие часы. — Надо только заметить время, прибавить тридцать девять и получится, сколько сейчас градусов жары. — Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три...

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь, — считал Том. — Восемь...

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома.

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту.

— ...двадцать семь, двадцать восемь...

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре...

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три! Пятьдесят три плюс тридцать девять будет... будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял покрасневшее лицо к солнцу.

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо — точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазло на недвижный, оглушенный зноем, умиравший в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз... два... три...

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— ...четыре... пять... шесть...

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

\* \* \*

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг, ни с того ни с сего, останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Нэд!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Нэд, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молится старый равнин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди его самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел:

— Хлам, барахло?

Нет, сэр, не хлам.

Хлам, барахло?

Нет, мэм, не хлам!

Спицы, булавки, иголки,

Тряпки, обломки, осколки,

Пустячки, побрякушки,

Вещички-старушки —

Все возьму в барахолку

Ради пользы и толку!

Ясно ли вам?

Это не хлам!

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, — а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличишь: рваные, в заплатках, плисовые штаны, побуревшие от времени, а на голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без усталости кружил по улицам, точно по извилинам речкам, огибая островки — кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей: он

подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраса?» — и Джонас отдавал часы или матрас, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Грингауне; и если кто маялся головной болью, надо было только завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонаса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну прямо руки богача, верно, он ведет еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; была там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бренчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сиянья. И тут ребята во все горло кричали ему «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу

или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка; такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса и мистер Джонас уже опять пел:

— Хлам, барахло?  
Нет, сэр, не хлам!  
Нет, мам, не хлам!

Наконец, он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

— ...хлам...

Все тише и тише:

— ...хлам...

Еле слышно:

— ...хлам...

Все стихло.

И собаки спят...

\* \* \*

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преображались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханьем. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взошло, оно нахлынуло, как поток, и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф,— сказал Том, входя в комнату.— Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем.— Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно, что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам,— сказал он.— Дуг, кажется, здорово заболел.

Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла и на лице у нее мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дома. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа — он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задержали занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известь.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медленные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап...

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден...

Кап. Упала песчинка. Кап...

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты, Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон...

Дуглас повернул голову — как болит затылок, как больно расплывается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут...

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап... Кап...

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт буйволов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет...

Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки, точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий, частый стук. Тук-тук... тук! Тишина. Тук-тук... тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушек дрожащий, но бодрый голос весело поет:

Соберемся у реки... у реки... у реки...

Соберемся у реки...

Что струится у подножия

Трона божия...

— Бабушка! Прабабушка!

Кап — тихонько — кап. Кап — тихонько — кап.

... У реки... у реки...

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

...у реки...

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала обжегшись и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощеным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом...

Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает. — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну... — начал было мистер Джонас и прикусил язык.

Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал — я его ненавижу... я думал... мы ведь всегда деремся... Наверно, я и правда его ненавижу... иногда... а теперь... теперь... ох, мистер Джонас, если б только...

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну, что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится...

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валятся.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну... во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом он еще свалил дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и, понятно, лето вышло пропавшее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде



этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли в миг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие годы, — сказал старьевщик. Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает... Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете?

Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вдохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том, — сказал он, глядя в спину лошади. — Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда... трудно сказать. А куда...

Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесков.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать, — попросил старьевщик.

Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал мистер Джонас. — Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он... — она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватила за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно, спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас.

Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху, в своей постели тяжело дышал Дуглас.

Если прислушаться, казалось — кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и, наконец, легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснуло.

В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали.

Всходила луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И, казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

и еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух... А вот кому воздуха?... Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед... Купишь разок — запросишь в другой... Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев, с Антильских островов... ясный и синий, пахнет дыней... Воздух, воздух, свежий, соленый... чистый, душистый... в бутылке с колпачком, надушен чебрецом. Всякому на долю, и всласть и вволю, сколько хочешь вдохнешь — и всего то на грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решил и не

слышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг, — сказал старьевщик, — ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь: это старик Джонас, твой друг. Твой друг, — повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем бишь я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — запомни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

«ЗЕЛЕННЫЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕИШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взяты из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке».

— Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав, и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и говорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи и фургон покати́л по улице в лунном свете.

Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг поправляется!

Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном и прохладная, пахнущая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

\* \* \*

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листьях, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топот гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клонуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза; он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы Тайкондерога...

\* \* \*

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и все они пили чай. Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и, казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, даром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владения — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и взгляделась в лицо — совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: бабушка, наверно, здесь и начинается мир? Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый фронталмент, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры; в этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завертывала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ощупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Мошкара кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь на полках выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? думал Дуглас. Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверно, только так и можно...

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбросил вверх темные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятное название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж, верно, был человек необыкновенный. Он, верно, без усталости носился по всему свету и, наконец, собрал отовсюду все радости и запихнул их в эту банку и большими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостиный голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, — ответил дедушка; он сегодня пришел с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно. — Ее стряпня всегда окутана тайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стекланные висюльки на люстре в столовой возмущенно зазвенели.

Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой.

Пряности... вот отличное слово! А бетель? А базилик? А стручковый перец? А кэрри? Все это великолепные слова. Но Улада, да еще с большой буквы, — тут уж спору нет, лучше не придумаешь!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родителями, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже, встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или и дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе, — все равно они не встанут из-за стола, недостижимые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скатерти, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу...

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских губок? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни и заглядится, и заслушается — а там взмечтаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, шелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что случалось самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением, всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот, впервые за долгие годы, кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего — молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну, а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке.

— Говядина... или барашек? Имбирь... или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святостатственные расспросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо развортывали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаился бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь

просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучает, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо,— сказала бабушка.

Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая!— продолжала тетя Роза.— Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света,— сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прошу тебя сядь, посиди,— сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала...— сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять-пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станутдохнуть от ожорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь?— с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся!— зашептал в библиотеке Дуглас.

Но к ужасу своему он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей,— и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к этой суете. Потом озабоченно поскреб подбородок.

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр,— сказал Дуглас,— и во сне не снился.

— Что там у тебя?— спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга!— воскликнула она и уронила книгу на стол.— Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого — и всё тут...

— Я помогу вам все закупить,— сказала тетя Роза.— И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза этими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идите за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбита с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и



новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг,— сказал дедушка.— Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Помни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт,— сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые.

Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда, как вкусно?— спросила тетя Роза, не обращая ни к кому в отдельности.— И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же безрадостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домохозяды предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что,— сказал дедушка.— Дело зашло слишком далеко.— Он подошел к лестнице и крикнул вверх, навстречу пропыленному солнечному лучу:— Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк,— сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа.— У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай...— и он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его теплым дыханьем.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду, она срезала цветы.

— Тетя Роза,— серьезно предложил он,— пойдемте погуляем, хорошо? Я покажу вам ограк, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспечно и торопливо: на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подходили к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железно-дорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как

проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку.

— Роза, — начал он, — мне надо тебе кое-что сказать, — а сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела, чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал, — ответил дедушка. — Мы прощались и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навестить опять годиков, эдак, через десяток. — Дедушка вынул массивные золотые часы. — Теперь пойдете-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка, по своему обыкновению, задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась, — сказала бабушка. — Я больше не умею стряпать... И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются у себя в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибой. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыхание.

Ощупью пробрался на кухню, минутью постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шпагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящичков, где она лежала годами. Снял с полок тарелки, вытащил из ящичков ножи и вилки — им место на столах!

Потом он отыскал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребе. И, наконец, разжег в старой дровяной плите большой огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались один за другим все обитатели дома — женщины в папильотках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспышками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка: было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не нарушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены кэрри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесло то ли тихий стон, то ли мычанье, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на которой режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелось по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

Старьевщик, думал он, мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше...

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тыфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа. Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке — он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай. — Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку. — Ведь не я создал мир. — Он на минуту задумался. — Хотя иногда мне кажется, что все это — моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей, не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется... что я буду один, — пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни, — сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро разворачивать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, а вечером завертывать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово, — сказал Том. — Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся.

— Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так, хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну, а когда бутылки опустеют, тут уж лету

конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездумно, действительно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль буйволов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось, — сказал Том. — Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось, — сказал дедушка, разбирая винный пресс. — Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют... и уже не отличишь один от другого...

— Как же так! — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засыпят всю лужайку и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погребца, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь, Том, — сказал он, — Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцанья вина из одуванчиков и вышли из погребца: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя — и тут войне со временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось: в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые, разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезает в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слышать, только листья с деревьев так и падают».

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслам ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах созревающих тыков — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз, и глянет изнутри жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погреба уже потекли жесткие черные реки и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку.

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы!

Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет!

И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли огни.

— Ну, теперь последние... вон там... и тут...

Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет представлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все, до конца...

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие <i>А. Казанцева</i> . . . . .	6
451° по Фаренгейту. <i>Перевод Т. Шинкарь</i> . . . . .	13
Маршанская хроника. <i>Перевод Л. Жданова</i> . . . . .	109
<b>Рассказы</b>	
<i>Перевод Л. Жданова</i>	
И грянул гром . . . . .	248
Вельд . . . . .	257
Земляничное окошко . . . . .	267
Вышивание . . . . .	273
Улыбка . . . . .	276
Золотые яблоки солнца . . . . .	279
Космонавт . . . . .	284
Дядюшка Эйнар . . . . .	292
Нескончаемый дождь . . . . .	297
Диковинное диво . . . . .	307
Каникулы . . . . .	317
Мальчик-невидимка . . . . .	322
<i>Перевод Н. Галь</i>	
Здравствуй и прощай . . . . .	329
Берег на закате . . . . .	335
Пролог: Человек в картинках . . . . .	341
Калейдоскоп . . . . .	345
На большой дороге . . . . .	351
Завтра конец света . . . . .	354
Кошки-мышки . . . . .	357
Бетономешалка . . . . .	368
Урочный час . . . . .	383
Ракета . . . . .	390
Пешеход . . . . .	398
Пустыня . . . . .	401
Убийца . . . . .	408
Дракон . . . . .	413
Конец начальной поры . . . . .	415
Икар Монгольфье Райт . . . . .	419
Были они смуглые и золотоглазые . . . . .	422
Вино из одуванчиков. <i>Перевод Э. Кабалевской</i> . . . . .	435

**Брэдбери Р.**

**Б87** Сборник научно-фантастических произведений /Пер. с англ.— Кишинев: Штиинца, 1985, 576 с.

Творчество Рэя Брэдбери — прогрессивного американского писателя, автора фантастических и реалистических произведений представлено повестью «451° по Фаренгейту», серией эпизодов и новелл «Марсианская хроника», фантастическими рассказами и повестью «Вино из одуванчиков». В них выражена вера в то, что добро сокрушит зло, а подлинная наука победит изуверов от науки, готовящих термоядерную войну всему человечеству.

4703000000—11  
Б—————184—85  
M755(12)—85

84.7США

Оформление серии «Икар»  
Ю. Пивченко

СЕРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ «ИКАР»

**РЭЙ БРЭДБЕРИ**  
**СБОРНИК НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИХ**  
**ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

Ответственный за выпуск *В. Рыбалкина*  
Художественный редактор *И. Ростова*  
Технический редактор *Л. Жукова*  
Корректоры *Ф. Куртъ, Л. Никифорова*

ИБ № 2541

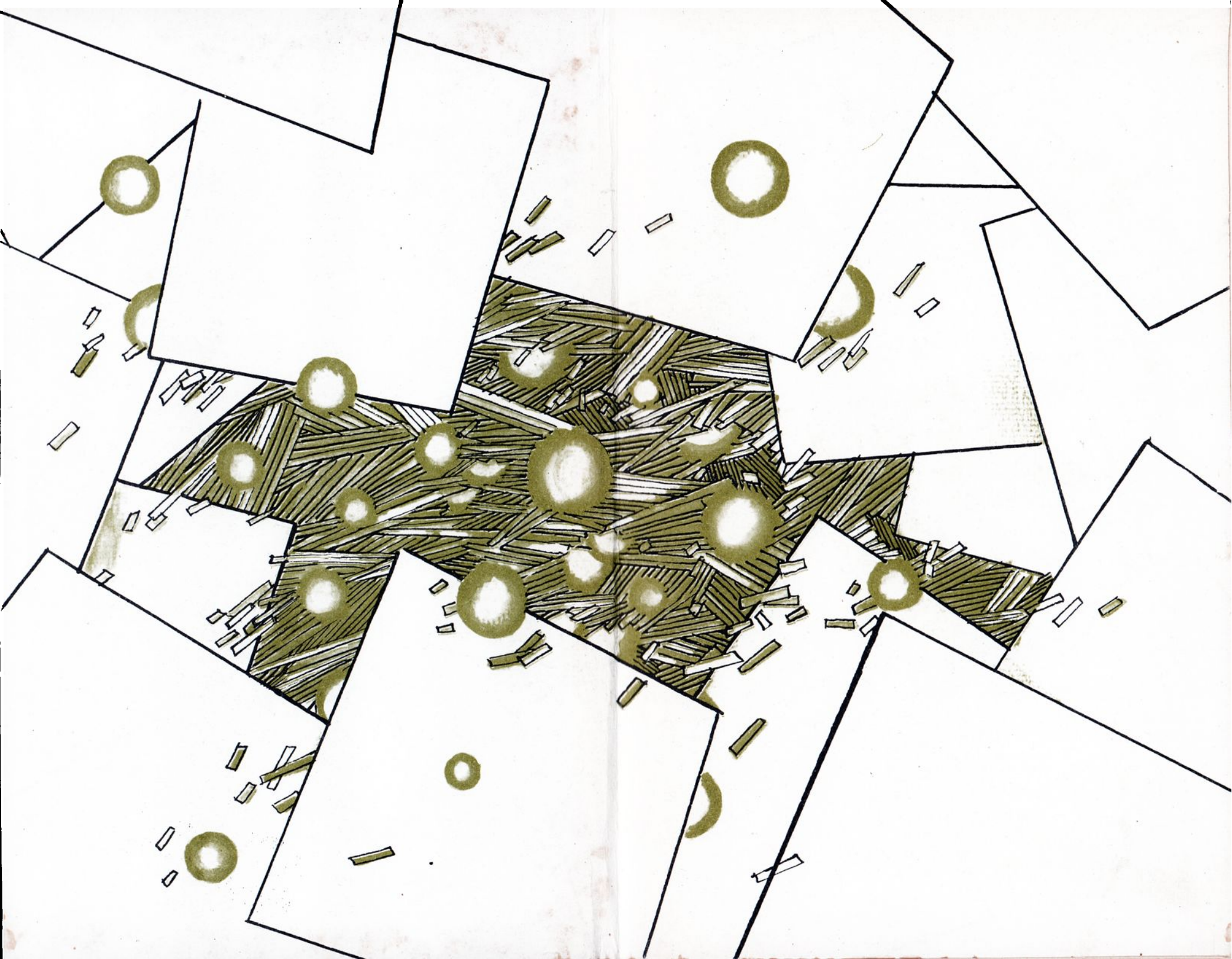
Сдано в набор 09.12.83. Подписано к печати 28.12.84. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 2. Школьная гарнитура. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,0. Усл. кр.-отт. 37,3. Уч.-изд. л. 49,5. Тираж 120 000 (3-й завод 80001—120000). Заказ №32334. Цена 5 р. 20 к.

Издательство «Штиинца», 277028, Кишинев, ул. Академика Я. С. Гросула, 3.

Полиграфкомбинат Государственного комитета Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Кишинев, ул. Верзарина, 35.

Фотонабор и верстка изготовлены с помощью автоматизированной системы переработки текстовой информации «АККОРД», разработанной в УНИИПП г. Львова, ул. Артема, 4 и функционирующей при РВЦ ЦСУ МССР.





5 р. 20 к.

Кишинев «Штиинца» 1985